

МАРИНА РАЧКО



ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ





МАРИНА РАЧКО

ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ

П О В Е С Т Ь

ЭРМИТАЖ

1990

Марина РАЧКО
ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ
Повесть

Marina RACHKO
CHEREZ NE MOGU.
(*Overcome "I Can't."* A novella)

Copyright © 1990 by Marina Yefimov

All rights reserved

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Rachko, Marina.

[Cherez ne mogu : povest' / Marina Rachko (Yefimov)].

p. cm.

Title on verso t.p.: Overcome "I can't".

ISBN 1-55779-032-9 : \$ 6.50

I. Title. II. Title: Overcome "I can't."

PG3549.R33C47 1990

891.73--dc20

90-4521

CIP

Published by Hermitage Publishers
P. O. Box 410
Tenafly, N. J. 07670, USA

ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ

Дорогой Николас, спасибо за поздравление бабушке с ее не девяностопяти-, между прочим, а девяностосемилетием. Я еще в Вене заметила, что она вызвала у Вас особенный прилив родственных чувств (не единственный ли?). А вообще все визитеры приходят в волнение от ее долголетия. Наверное, думают: "Значит, и я могу так вот жить и жить, почти вечно... Сидеть в кресле, держать на коленях книгу, величаво кивать пожилым гостям собственных внуков..." Как-то одна гостя, и сама лет семидесяти с гаком, сказала потрясенно: "Смотрите! у нее голубые глаза!" А знакомый из старых эмигрантов (с историческим подходом) считал, считал, потом говорит: "Если не ошибаюсь, в тысяча девятьсот четырнадцатом, не правда ли, у вашей бабушки уже был, не правда ли, ребенок..." Кстати, о тысяча девятьсот четырнадцатом... По пути из Вены в Нью-Йорк наш эмигрантский самолет приземлился на час в Женеве. Узнав где мы, бабушка не упустила повода похвастаться: "Видишь, — говорит, — я всегда добивалась своего: в четырнадцатом, перед самой войной, мы с мужем как раз собирались в Швейцарию. И вот я здесь!.."

Говоря об историческом подходе, Николас... бабушка пережила десяток русских правителей (начиная с Александра Третьего и кончая нечитаной партийной мелочью), всех своих братьев и сестер (числом пять), всех друзей, мужа и обоих

детей. Я уж не говорю о пережитых ею трех больших войнах, трех голодах, великом терроре, борьбе с космополитизмом... — семь коров тощих, семь дистрофичных. Словом, если бы давали ордена за выживание, скажем, "орден Робинзона Крузо" или "медаль за оборону Жилплощади", — бабушка была бы в первых рядах праздничных парадов.

Николас, дорогой, на Ваше поздравление бабушка вряд ли ответит: лондонскую открытку она неожиданно принялась суетливо рвать: "Нельзя, нельзя, вдруг скажут — связь с границей". Защитный рефлекс сработал по академику Вышинскому. К тому же она раздраженно оспаривает свой возраст: "Девяносто семь? Ну что глупости-то говорить!" — "Да? А сколько же тебе?" — "Ну, восемьдесят три, восемьдесят четыре максимум".

Как бабушке Америка? Как в густом тумане, я полагаю. Она наблюдает ее из окна нашего "таунхауса" на окраине Ипсиланти, штат Мичиган, откуда видна только стоянка машин и помойные баки в зелени. Вчера Наташа играла на травке перед домом с черным соседским мальчиком. Бабушка долго следила за ними с явным беспокойством, потом спрашивает:

— Ньюша, это правда, что в Америке есть негры?

— Бабушка! — говорю я в изумлении, — ты полчаса смотришь на мальчика, с которым играет Наташа. Ты что, не видишь, что он черный?!

Бабушка говорит с сомнением:

— То-то и я думаю: не то еврей...

Каждый вечер она требует, чтобы я проверила, заперты ли двери: "А то газеты пишут, что в Манхаттане большая преступность". — "Да мы-то не

в Манхаттáне". — "Как же, всегда говорили: Манхаттáн!" — "Не Манхаттáн, а Мичигáн". Поджала губы и говорит упрямо: "Ну, это, может быть, ты так считаешь..."

...Николас, Ваши комплименты взволновали меня, наверное, преувеличенно, как матроса после шести месяцев плавания (исполнится через неделю) обнаруженный в кармане желудь (цветок?). Земли не видать. Сердечное спасибо за приглашение, но идея поездки в Лондон утопична, поскольку американская потогонка не дает перевести дух ни на минуту. Полцарства — за месяц беззаботности!

Так что всей вновь обретенной лондонской родне посылаю воздушные поцелуи воздушной почтой. Пожалуйста, пишите мне. По-английски. А я буду отвечать по-русски, тогда, по крайней мере, мы не будем себя чувствовать двоечниками, которым задано написать сочинение.

Николас, Америка — "колоссаль", но Вена — все еще мое лучшее воспоминание в эмиграции, а Вы — все еще мое лучшее воспоминание в Вене.

Целую,
Аня

* * *

...Николас, честно говоря, идея описать бабушкину жизнь кажется мне бесплодной. Единственный, кто мог бы написать настоящий бестселлер — сама бабушка (теоретически, конечно). "Руководство по выживанию": не заглядывать вперед, не оглядывать-

ся назад... Как говорит одна наша советская приятельница: "Я знаю, почему моя тетка смогла все это перенести. Она оглохла в тридцать три года".

Разумеется, я сама никакой книги написать не могу, не только по лени и бесталанности, но и оттого, что по-настоящему, сердечно, помню только свои собственные стыды, позоры и вины. Ну что может создать человек, которому незнакомо чувство правоты?

Однако... возможность выговориться меня, признаюсь, соблазнила, поэтому, давайте, сделаем так: я напишу, что помню, а уж Вы превращайте, как Гоголь, эти "сцены низкой жизни" в "перл создания".

Самое первое воспоминание моей жизни — унижительное (я вас предупреждала). С бабушкой за сценой — то есть на кухне. Я сижу на высоком стуле на дачной веранде и давлиюсь пирожным "буше". Бабушкина сестра тетя Таня, статная и что называют "интересная", в стальных локонах, держит мою руку в своей, как в капкане, и, дразня, говорит:

— Раз не ешь пирожное, так и буду держать руку в плену!

Что за чудовищное изобретение! Руку не выдернуть. Сквозь воспитанное хихиканье, я чувствую, прорываются злые, беспомощные слезы раба. Незаметному их сглатыванию мешает разбухшее во рту пирожное. И первый, требовательный крик о помощи: "Баба Апа!" Апа — Агриппина.

Смутно помню первые наказания — всегда за плохой аппетит. После дневного сна из-за щеки

выковыривают котлетку, с которой я спала, не решаясь выплюнуть... Вообще я не испытывала страха перед бабушкой, скорей мое почти беспрекословное послушание было способом остановить ее неумолчное ворчание, под которое я жила в детстве, как жители гор под шум водопада.

В нашей семье насилие не применялось. (Кошмарный летний день, когда меня обещали выпороть "сантиметром" — знаете, такой клеенчатый ремешок с сантиметровыми делениями, которым пользуются портнихи. Да так и не выпороли.)

Бабушка действовала мирным обманом. С уверенностью, которой я свято доверяла, она обещала, что у зубного будет не больно (!), что в гости, куда она меня тащит, придут дети (а их и в помине не было), что есть мороженое зимой запрещено законом и за это штрафуют. Когда же дело было сделано, я добродушно забывала обещанное.

Мама вранье раздражало, и в детстве я часто слышала ее упреки, на которые бабушка, не дослушав (никогда не дослушивала), бормотала: "Это ложь во спасение. Так и в Библии сказано... Есть ложь во зло, а есть — во спасение. Спроси кого хочешь". Библия — которую я знала только из этих бабушкиных упоминаний — казалась мне чем-то исчезнувшим и не восстановимым, как динозавр.

Из отвращения к бабушкиным методам воспитания мать действовала прямыми и категорическими ультиматумами: "Или ты сейчас же, или я..." Бедная мама, не зная, что теряет, общалась со мной посредством "замечаний" и одергиваний. Еще были порывистые объятия после выжатых из меня просьб о прощении. Они остались в памяти как самые тяжкие

минуты — кусок сахара после дрессировки.

...Так на веранде. Злая и униженная, с рукой в плену, я вдруг вижу, что по зеленому склону к дому торопливо идут, почти бегут наши городские — мама и бабушка — оба в белой чесуче, на ярком солнечном ветру... Приехали, чтобы спасти меня от смешного позора. И мой торжествующий крик, и рука свободна, и обе сестры, с беспокойством приникшие к окну, и захлебывающийся бег по траве прямо в дедовы объятия, и говор, говор вокруг. Что случилось? А случилась война.

Войной в нашей семье, как впрочем и всем, заведовала бабушка. И поскольку она была всю жизнь убеждена, что доверять можно только ближайшим родственникам (вообще во всем, в чем бабушка была уверена, она была уверена раз и навсегда), то ни Сталину, ни Риббентропу, ни знакомым она не доверяла и, в отличие от остального населения России, загодя готовилась к войне.

В огромном буфете по имени Нотр-Дам, нерешительно презираемая своим польским, благородных кровей мужем, она постепенно накапливала "хлам". На широких ароматных полках расставлены были бутылки тягучего подсолнечного масла и прозрачные водочные ("А зачем вода в бутылках?" — "А ну, сейчас же из буфета!"), мешочки с крупами, мукой и горохом (особенно обрати внимание на горох, мой мальчик), большие холщевые мешки постоянно обновляемых сухарей, десятки коробков спичек (я любила к ним принюхиваться, и вообще — ко всему), "палочки" дрожжей, рафинад, пачки

печенья и россыпи репчатого лука... Все это выменивалось в блокаду на краюшки белого хлеба, завернутые во влажные тряпки куски шпига, на "школадный лом" и маленькие бежевые осколки глюкозы — пока они не исчезли даже с барахолки. Как мне помнится по бабушкиным рассказам, самым главным обменным фондом были почему-то спички и репчатый лук.

Кстати, Ник, а вы вообще знаете слово "барахолка"? Это "блошиный рынок". Только в вашем выражении игра смысловая, а в нашем — лингвистическая, с прелестным, многозначным, в этом случае пренебрежительно-собирательным окончанием "ка" (которому вообще-то положено быть уменьшительным, но с которым даже слово "ночь", превращаясь в "ночку", не делается короче, а приобретает лихой, разбойный оттенок). Только не уличайте меня, пожалуйста, в лингвистическом невежестве — я ведь Пи Эйч Ди не прошу.

Позже, когда слово "барахолка" исчезло из обихода (вместе с последней возможностью свободной купли-продажи), народ много экспериментировал с этим окончанием "ка" — почти всегда иронично. Например, недозволенная властью деятельность, произведения искусств, книги и вообще запретные плоды — получили широко распространившееся название "запрещенка"; студенты-медики называли занятия по анатомии "расчлененкой" (хотя на мой вкус это уже изошренка), а смерть, вечную разлуку и эмиграцию — должно быть, с намеком на причастность Запада — стали называть неверморкой — от never more.

Значит, война...

Мы жили (чуть не написала "тогда", а на самом деле "всегда") на Разъезжей улице в огромной квартире, которая до революции принадлежала бабушкиным родителям (т. е. нашей с вами общей прабабке и моему прадеду) Юлии и Галактиону Ш.

Я родилась, как принято у людей моего поколения, в 1937-ом, и к тому времени квартира давным-давно была коммунальной. Так что, например, залу с мраморным камином, мелькавшую без конца в рассказах родственников, я впервые увидела лет в двенадцать, когда мне пришлось провести врача к больной соседке. Обычно у этих соседей никто не бывал — там муж был мизантроп. Уж не помню, жулик он был или партиец, что так оберегал свой внутренний мир, но только на стук он никогда не кричал, как другие: "Войдите!", а каждый раз бесшумно появлялся сам и быстро прикрывал за спиной дверь. Оба они были тонные, немножко путали аристократизм с чванством, и их подчеркнутая вежливость доходила до того, что они все называли полными именами: "Валентин, захвати из кухни картофель"; "Серафима, не забудь сервировать сельдь"...

До оказии с врачом я представляла залу только по предновогодним бабушкиным воспоминаниям: распахнутые белые двери, мерцающая ель вдали и толпа детей (шестеро своих и гости) с бабушкой впереди с разбегу летит из гостиной, как по катку, по скользкому паркету через весь сорокаметровый простор... И чисто, пахнет воском с мандаринами, наступает новый 1900-й год, и на платяном шкафу в

прихожей плохо припрятана гигантская круглая коробка от "Норда".

"Воронью слободку" моего времени, даже если представить ее отдельной квартирой, трудно было назвать роскошной или уютной, но в ней осталось какое-то, знаете, обаяние, общее для многих больших, темноватых петербургских квартир. Высокие окна на север, на крытую диабазом Разъезжую; планировка, такая неожиданная, словно архитектор сам не знал, на что наткнется за углом. По длинному коленчатому коридору можно было бы пустить автобус и даже сделать пару остановок. Последний его поворот выводил на кухню размером с самолетный ангар, которую освещало только одно окно — в достоевский двор. За кухней еще шла "людская" со ступенькой. Темная "вторая прихожая" — с лепниной и белой кафельной печью — была когда-то столовой. От нее фанерной стенкой отгородили часть с окнами и сделали отдельной комнатой. Там жила прабабушка Юля, которая вовремя, перед войной, умерла.

Ну и все в таком же духе: застекленные книжные шкафы с изданиями 1890-х годов, дубовый Нотр-Дам с очертаниями Нотр-Дама настоящего, корниловский сервиз...

С балкона в нашей комнате (бывшей гостиной) были видны Пять углов — перекресток Разъезжей, Загородного и Троицкой — и старинный дом-утюг. Его башенка, похожая на кронверк Петропавловки, украшала закатное небо. В квартире жили семейные истории и призрак "брата Жени", мистификатора и художника, умершего молодым от туберкулеза.

Мировые катастрофы бабушка принимала бодро. Она, по-моему, жила не разумом и даже не чувством, а инстинктом и поэтому довольно легко управлялась с иррациональным. После революции действия новых властей нельзя было предугадать, их можно было только унюхать, и это было по ней. Скажем, когда стали конфисковать золото и серебро... Нет, нет, в том-то и дело... Бабушка бросилась действовать не тогда, когда начали конфисковать, а когда "пошел слух", что начнут! Люди рациональные этому слуху не верили: ну, отберут настоящие драгоценности у настоящих богачей, но не столовые же ложки... Бабушка, без колебаний и сожалений, в два дня, снесла все, что можно, в Торгсин, мелочи спрятала в надежное место, а на завтра пришли отбирать столовые ложки.

Только не подумайте, что она всегда побеждала в этой борьбе иррационального с иррациональным. В тот раз, например, властям стало подозрительно, что в квартире нотариуса-поляка нет никакого золота, и деда на всякий случай арестовали. Вместе с дюжиной соседей и знакомых он простоял трое суток в набитой конторе. Правда, методы дознания были еще детские: пить не дают, в уборную не водят... Но и народ ведь был еще непривычен — кто-то умер от одного стояния. Дед, однако, про спрятанное не сказал. Почему? Знал, что не поможет? Из-за шляхетской гордости? Или на этот раз бабушка решила не доверять даже ближайшим родственникам? Через три дня его освободили. Был призван "брат Шура", врач-педиатр, поправить дедово здоровье.

Слушая рассказы об этом эпизоде, я каждый раз

иезуитски спрашивала бабушку: "А что ты ЧУВСТВОВАЛА в эти три дня?" И она неизменно отвечала: "Да уж ДЕЛАЛА что могла" (в том смысле, что хлопотала об освобождении). И это был искренний ответ: бабушка не помнила своих чувств, потому что каждое ее чувство немедленно превращалось в действие.

Словом, у нас сохранилась сахарница фразе...

Когда "пошел слух", что частные квартиры будут превращать в коммунальные, бабушка опередила власти и заселила квартиру родственниками и друзьями. Загадочным образом она уже разбиралась во всем этом революционном сюрреализме: "жактах", "прописках", "управдомах", без тени смущения ввела в свой словарь мутантское выражение "жилплощадь"... Боже мой, какие слова вырастила советская эпоха! Как будто в учреждения вступили тысячи хлестаковских Осипов и указом Президиума Верховного совета ввели в стране "галантерейное обхождение"...

...Из бабушкиных историй того времени:

Приходит управдом. "У вас большая вечеринка намечается, так мы пришлем своего человекка". — "Ой, ну что вы, у нас ведь соберутся только близкие, а тут вдруг чужой человек..." — "Да он тихий, интеллигентный, студент, посидит в уголку, семейные альбомы посмотрит". — "Ой, а нельзя ли как-нибудь обойтись без него?" — "Ну, составьте список гостей и занесите, мы посмотрим..." Посмотрел список и говорит: "Можете не беспокоиться, нет нужды никого посылать — у нас тут, я вижу, три своих человека".

Соседи Лещинские (тоже по рассказам). Муж —

поляк, приятель деда, кажется, офицер... жена Лизочка, болезненная, и двое сыновей. В 36-м старшему семнадцать, младшему четырнадцать. Имя старшего неважно, а младшего — Кирилл. У меня сохранилась фотография вечеринки 36-го года в квартире "тети Мани" на Загородном: конец стола, задвинутого в тюль эркера, и за ним наши с вами родственники, молодые и миловидные, в каких-то пикантных сочетаниях. Например, аппетитная жена маминого брата Вади хозяйски привалилась к инженеру Зимбицкому, тетки Таниному мужу... А у самого Вади лицо, которое американцы определили бы как "all russian boy"...* И вот где-то в середине этой самой вечеринки, веселой, как все "пиры во время чумы", раздался телефонный звонок. Хмуро звонил старший сын Лещинских: у Кирилла температура, он заболел, пусть родители идут домой. Лизочка нервно спрашивала в трубку: "Да что случилось? Он был абсолютно здоров!" Женщины сочувственно столпились у телефона. И вдруг в трубке раздался голос Кирилла, такой звенящий, что его слышали все стоявшие вокруг: "Мама! Не приходите! Здесь НКВД!.." И гудки. В мертвом молчании Лещинские оделись. Какой-то рационалист из гостей сказал: "Не ходите! Детей не тронут!" Лизочка только посмотрела на говорившего, и потом этот взгляд все художественно описывали... На следующий день правую часть ее лица парализовало — ночью взяли не только самого Лещинского, но и Кирилла. Когда началась война,

* Типичный русский мальчик.

старший сын увез Лизочку в Москву...

Война вымела и других соседей, осталась только семья "чужих" в девятиметровой камерке у лестницы — скромный и милый рабочий по фамилии, не поверите, Свинтусов, с революционно настроенной женой и сыном, не поверите, Гарри, моим ровесником. В этой же комнате, размером как раз в четыре гроба, жил призрак "брата Жени".

* * *

Интересно, что из всей войны я помню только два-три летних эпизода. Все остальное, как кажется, происходило зимой. Зимой и вечером.

А тут — день и жара, и дядя Вадя, мамин брат Владислав, дома "на побывке" (значит, перед отправкой на фронт, значит — летом или ранней осенью 41-го).

Толстая годовалая кузина Ленка, с огромным бантом на трех волосинах, стояла у стула и самозабвенно ела манную кашу из глубокой тарелки. Меня, четырехлетнюю, эти воспитатели, мама и дядя, поставили на обеденный стол и уговаривали с него прыгнуть. Оба они, загорелые и белозубые, в майках, стояли шагах в полтора. Дядя протягивал руки и говорил: "Прыгай, не бойся, я тебя поймаю!" Мои страдания усиливались тем, что за минуту до этого он подбрасывал к высокому потолку и ловил Ленку, ее белые волосины взлетали от ветра, но толстая физиономия была совершенно спокойна, и глаз с терпеливой надеждой косил на кашу. А мне нужно

было сделать всего один прыжок до его сильных рук, и я боялась. Я видела, что маме стыдно за меня — она стояла с напряженным лицом и все вскрикивала: "Да прыгай, трусиха!" Наконец дядя сжалился, шагнул сам и крепко стиснул меня в объятьях. Кажется, именно с тех пор в моей голове засело убеждение, что благородная снисходительность к слабости есть неперенная черта мужского характера. А солдатский запах остался моим тайно любимым на всю жизнь — загара, курева и кожаных ремней.

Откуда-то из тех же дней (или часов?) помню, как я, энергично кривляясь, с наслаждением повторяю: "Дя-дя-Ва-дя, дя-дя-Ва-дя!" — так удобно для детских упражнений, словно создано для начинающих... И Ленка бессмысленно вторит: "Дя-дя-Ва-дя!" А кто-то говорит весело: "И эта туда же!" И — Ленке, отчетливо выговаривая: "Папа! Па-па!"

После ухода дяди на фронт (and to eternity)* его жена увезла Ленку к своим родителям. Перед отъездом произошел довольно напряженный спор между ней и бабушкой — оставаться или не оставаться — чуть ли не единственный, во время которого я помню бабушку в ярости. И все потому, что не победила, не настояла на своем. Несмотря на ее запугивания (с поднятым крестным знаменем, как боярыня Морозова: "Ты горько раскаешься — ты потеряешь комнату!"), невестка, хоть и расстроенная, но не поддавшаяся бабушкиному гипнозу, увезла дочку. Дяди Вадина жена считала жизнь в провинции во время войны безопаснее и сытнее (в

* и в вечность.

чем оказалась абсолютно права). Бабушке же нюх на этот раз изменил: "К Питеру?! Немца?! Да на тыщу верст не подпустят! Что глупости-то говорить... Считается вторая столица!" В конце приводился, как всегда, сокрушительный аргумент: "Если не веришь мне, выйди на кухню и спроси кого хочешь!"

Но спрашивать, собственно, было уже некого. Все эвакуировались. Маме предложили уехать с Публичной библиотекой, в которой она работала, но бабушка простерла свою железную волю, и мы остались.

Последние поезда ушли под бомбами, на развалинах продуктовых Бадаевских складов жители собирали в кастрюли сахарный песок, окна заклеили крест-накрест полосками бумаги, "опустили пожалуйста синие шторы", и с улицы просочилось новое, но не требующее объяснений слово БЛОКАДА.

Затем в памяти моей торчит один эпизод, который кажется каким-то поворотным, на рубеже, отделяющем летнюю картинку с дядей от собственно Блокады. Эпизод такой: в моем вполне мирном и бессмысленном сне раздался ужасный грохот и дребезг стекла. Я скорей проснулась в привычной уже надежде, что сейчас все кончится, но оказалось, что это не во сне, а на самом деле. Наверное, я закричала, заплакала — не помню... Помню недолгий ужас и потом маму. Как она решительно взяла меня на руки и поднесла к балконной двери. Старый двухэтажный дом напротив горел, как на цветной картинке — пламя рвалось из окон. Улица Разъезжая

была театрально освещена. Не знаю, на что смотрела мама, но я, действительно, как в сентиментальных кинофильмах, сразу увидела большую куклу, лежавшую на мостовой среди не то вещей, не то... И я стала спрашивать в тоске, которую помню даже сейчас:

— А девочка? А где же девочка?

Вот когда мама вспомнила уроки бабушкиной "лжи во спасенье". Если бы ко мне тогда приставить датчики, они зафиксировали бы, как застрекотали все иммунные системы, лихорадочно вырабатывая психологию выживания. И через несколько минут я твердо усвоила, что дом, перед тем, как ему гореть, бывает оставлен жителями. Что всех их эвакуируют в безопасное место, в первую очередь детей с мамами. Куклу, конечно, даже и такую большую, можно забыть в спешке или просто оставить, потому что там, куда их эвакуируют, знаешь, какие куклы!.. Ого-го! С жадной готовностью я усвоила бабушкино убеждение, что мир устроен правильно и плохое случается только с теми, кто бестолков, непредусмотрителен и все делает не так, как "принято".

Я стала относиться к несчастным и обездоленным с легким чувством превосходства.

Дорогой НЫК! (Такая транскрипция "i" дается в эмигрантском русско-английском разговорнике, чтобы приблизить нас к английскому произношению.)

Вот теперь я понимаю проблему писания писем из-за границы — словно начинаешь не письмо, а жизнеописание. Обо всем, вроде, надо рассказывать с самого начала, иначе не понять; все новости — сугубо местного значения; проблемы другие, даже шутки приобрели американский акцент. Так что разрыв, который был между нами из-за того, что Вы росли в Лондоне, а я в Ленинграде, увеличился на Америку.

До сих пор моя главная эмоция в здешней жизни — нервная смесь восторга и страха. Страх будит по ночам, а восторг доходит до спазм в горле.

Восторг, во-первых (в школьной последовательности), от природы и климата. Природа ни за какие здания, заборы, пакгаузы и брандмауэры не отступает. Плющ на проводах (!), который здесь почему-то не опасен. Улицы, тесные от кленов или яблонь, весной и осенью превращаются в рекламные открытки. Интересно, что в Ипсиланти осенью не бывает ветра. Листья опадают и лежат под деревьями пестрыми кучками — под каждым своя.

Провинциальные города (по контрасту с советскими) поражают меня больше всего. Умудрились сохранить красоту и природу даже на задах автобусных станций, даже у городских помоек... Словом, куда они девают все свое уродство и грязь, я поняла только, когда приехала в Детройт. Вот там все это и есть. Оставлено на развод.

В середине ноября, в день моего рождения (в Ленинграде обычно день первого снега и вечных зимних сумерек, а здесь солнечный и почти жаркий) отправились компанией на ферму, где делают сидр. Огромный красный амбар — как на открытках "Home, sweet home" — внутри весь уставлен бумажными кошелками с разноцветными яблоками. Яблочный дух такой сильный, что уже перестает быть запахом и становится литературным персонажем. У старинного жома — румяные и приветливые герои Карсон Мак-Каллерс: "Where are you from, ma'm? From Russia?! Lord! Is it in Siberia?"*

Во-вторых, экономика тире богатство. Не богатых людей. Богатых, по-настоящему, по-здешнему, я вообще еще не видела. Ни у каких миллионеров в домах не была. Нет, я имею в виду богатство страны, ее супермаркетов, "забегаловок", государственных школ, общественных уборных, клиник для нас, бедных... А главное — удобно. Вам, наверное, не понятно, что у человека могут слезы благодарности наворачиваться на глаза, когда он покупает карандаш с резинкой на конце. А бутерброд с горячей котлетой... А зубной кабинет отдыха!.. А рожать, говорят, так удобно, что даже стыдно.

В-третьих (на самом деле во-вторых, переходящее в во-первых), — доброжелательство и уважение, я бы сказала, ко всему живому. В этом смысле медсестры, официантки и кассирши с последнего места в Советском Союзе здесь переместились на первое. В

* "Вы откуда, мэм? Из России?! Боже правый! Это в Сибири?"

детские сады маленькие дети рвутся и даже демонстративно показывают, что любят воспитателей больше, чем родителей. С учителями шутят!! С профессорами спят.

И так далее, и так далее, и так далее... и, наконец, дорога! На конец — потому что она находится точно на границе и на пике моих восторгов и страхов.

Недавно мы с мужем и Наташей (которой теперь шесть) подъезжали впервые к Чикаго. И так случилось, что наш въезд пришелся как раз на вечерние часы пик — между 4-мя и 5-ю пополудни. Дорога в Чикаго входит пятирядная, с бетонными стенками, поднятая над предместьем на уровень крыш и последних этажей. По ней летят, не снижая еще скорости, в пять рядов, как-то умудряясь вылетать на нужных съездах и влетать в редкие просветы между плотно идущими машинами с так называемых "мерджей". (И я думаю: что за американцы в этих машинах? Те, про кого их главный мужчина сказал: "Какими вы не будете"? Ну хорошо, а я-то что здесь делаю, Анна Иванна Обломова?) Среди автомобилей мчатся гигантские, закрывающие небо грузовики. Между ними иногда вспыхивает низкое солнце и слепит водителей. Следишь за машинами и знаками так напряженно, что не успеваешь взглянуть на город, который разворачивается под дорогой. Над ней и под ней проходят еще другие дороги предгородской развязки, так что временами видишь сразу сотни машин, летящих навстречу, над, вбок... Машины меняют ряды, обгоняют друг друга, как конькобежцы. И такой же вот все время звук: жжик-жжик! Звук скорости. Боже милостивый! И не то что даже страшно, а как-то замороженно. Уж и за

ребенка, притулившегося на заднем сидении, перестаешь бояться, а только думаешь залихватски: "Ну, все!!.."

Наш с Вами персонаж заметно поздоровел — мне смешно вспомнить, как подруги говорили: "Ты с ума сошла везти с собой девяностолетнюю старуху — она у тебя умрет в дороге!" А бабушка — как Иван-дурак из "Конька-Горбунка" — прыгнула в кипящее молоко и помолодела. Тут гавайский банан, там флоридский апельсин, глядишь — гипертонии как не бывало. Каждое утро она обходит солдатским шагом наш квартал и пытается заговаривать с соседями.

— Бабушка, они американцы, они по-русски не понимают.

И бабушка сердито говорит:

— Но простейшие-то слова они должны знать!

Я чувствую — в ней живет не истребленная возрастом уверенность, что она сможет приспособить к себе всякую новую жизнь. Но все мои попытки приспособить ЕЕ к новой жизни разбиваются о боярское, допетровское упрямство. "Халле! — говорит она громко уходящим из дома американцам. И на поправки детей: "Ну вот еще, будете меня учить... Всегда считалось, что "Халле" значит "До свидания" ".

Поехали с бабушкой в здешнюю Ратушу — Горсовет — Сити Холл устраивать ей пенсию — пособие — SSI. Первая в Америке унылая очередь из стариков и неудачников. Комфортабельная, конечно: на всех хватает стульев, тепло, светло, играет тихая музыка. Чиновником, занимавшимся бабушкиным делом, оказался пожилой джентльмен. Я облегченно вздохнула — молодые чиновницы здесь обычно

словно зачарованные — в ушах музыка, во рту жвачка, в глазах *La dolce vita*. Муж говорит про них: "Эти — из страны Донтгиведемия" (От "Don't give a damn").* На лице же нашего чиновника было написано, что он честен, опытен и доброжелателен. Он не раздражался на тупых иностранцев, а наоборот, старательно выговаривал слова, чтобы я легче его понимала:

— Есть ли у вашей бабушки здесь состояние, счет в банке?

— Н-нет (еще с изумлением).

— В Европе или вообще в какой-нибудь другой стране?

— Нет (уже с огорчением).

— Какие ценности и деньги она привезла с собой? (И, заметив мое поглупевшее лицо, особенно разборчиво): Я имею в виду драгоценности стоимостью свыше тысячи долларов, старинные монеты... такого рода вещи...

(Вот те на! Я думала, что хоть чиновники осведомлены о советском исходе — один чемодан на человека, 90 долларов на нос, 3 серебряных ложки советского производства... Или он тоже думает, что Россия — это в Сибири? Черт подери, мы одна шестая или мы не одна шестая?..)

— Нет, нет, ничего... У нее ничего нет.

Чиновник поднял на меня спокойные, проницательные глаза:

— В таком случае, что же вас заставило привезти ее с собой?

* Наплевать

Вот уж действительно.

Когда я занимаюсь английским, я выхожу минут на пятнадцать за дом, на лужайку и пытаюсь загорать. Все это время бабушка стоит в проеме, придерживая металлическую дверь на пружине. Сильные очки делают ее голубые глаза всевидящими.

— Ньюшенька! Не лежи на солнцё... опасно... разжижение мозгов... мне ли не знать, я ж сколько медсестрой работала... (Она уже забывает, кому в чем можно подвирать).

И через три минуты снова, нежно:

— Ньюшка! Как врач тебе говорю: не лежи на солнце, а то помрешь, оставишь меня одну... Надо думать о старом человеке... Чего бы в дом не пойти — тебе все равно, а старому человеку спокойнее.

И еще через три минуты, и еще... Ласково и неотступно. И стоит в дверях, как наказание Господне.

Однажды в минуту просветления бабушка сделала на редкость пронизательное замечание. Из какого-то ее высказывания стало ясно, что тут ей плохо, а ТАМ — было хорошо. "Ну что именно там было лучше?" — "Там, — сказала бабушка, — у меня было свое место"!

Бедные эмигрантские старики! Потеряв СВОЕ место, они теперь от растерянности пытаются занять ВСЕ. И вот бабушка почти круглосуточно занимает угол дивана в нашей американской бездверной гостиной и "слабым манием руки" контролирует передвижение всех родов войск.

Я зарабатываю машинописью, сижу обычно в подвале, подальше от бабушки, пока не услышу ее боевые трубы:

- Ньюша! Ньюша! Скорей...
- Ну что еще?
- Наташа говорит по телефону!
- И что?
- Разве она умеет?
- Умеет.
- Но все равно нельзя, сейчас гроза...
- Тьфу ты! Господи!

— Нельзя, нельзя... во время грозы нельзя пользоваться телефоном... Так и в телефонной книге всегда было написано: "За-пре-ще-но"!.. и штраф... у-у-у! Соловейчик, наш квартуполномоченный, однажды позвонил!.. Потом все решали, кому платить... Ах, здесь можно?.. Ну да, может, здесь грозы другие... почем знать... климат... А я тогда так решила остроумно: у нас каждый платил по 30 копеек...

И тут я ухожу в свое королевство и крепко захлопываю за собой дверь подвала...

...Видите, особенность этого истязательства заключается в том, что главным наслаждением моей жизни (после любви) всегда было (и есть, и будет) — общение. И вот теперь бабушка ежеутренне начинает "Goethes Gesprache":

— Почему так жарко?! (это требовательно) Сентябрь всегда считался осенним месяцем. А!.. (это озаренно) Тут солнце, наверное, низкое, ближе к земле...

Но ничего, скоро приедет еще одна пожилая родственница, тетушка мужа, и тогда мои "Разговоры с Гете" перейдут в настоящие "Unterhaltungen..." (der

Russische Emigranten).*

Теперь Вы понимаете, как радуется меня наша переписка. Не дает потерять квалификацию. Так что пишите.

Целую, Аня

* Имеются в виду "Беседы немецких эмигрантов" Гете.

...Как все же поучительно, что даже ленинградская блокада, ставшая для одних леденящим душу (на этот раз в прямом смысле) случаем массового уничтожения, для других превратилась в синоним детства — с маминой любовью, с бабушкой-дедушкой, с праздниками, страхами, с н о в ы м!..

"Новое" началось с перестановки. По распоряжению бабушки Нотр-Дам и Зеркальный шкаф перегородили бывшую гостиную на светлую часть с обеденным столом и "зашкафную", где вокруг печки-буржуйки спали на двух высоких кроватях мы с бабушкой, и дед — на нейтральной полосе, на бархатной оттоманке.

Регулярно стал появляться еще жилец — бабушкина подруга, смешливая, в седых кудрях, с детским именем Люлюша. Всегда поздно вечером, держась за сердце и показывая жестом, что сейчас... отдышится... и все расскажет. Она летела сначала вниз по своей темной лестнице, потом вверх — по нашей... Люлюша ночевала у нас потому, что боялась умереть одна. Укладывали гостью "в квадрате". На светлой половине (уже совершенно темной — синие шторы гордо прикрыты старыми бархатными занавесями с "лямбрикенами"), отодвинув обеденный стол, составляли вместе четыре низких, уголками, кресла. Получался мягкий, обтянутый "суровым полотном", огражденный, как заборчиком, спинками кресел квадрат — самая уютная постель в доме. И хотя полномерный взрослый мог спать в квадрате только по диагонали, мне никогда не разрешали

поменяться с Люлюшей местами. В девять меня отправляли "за шкаф", а гостя еще долго кашляла и хрипло смеялась на другой половине. И согреваясь у себя под ватным одеялом, я утешалась нашептанным в ухо бабушкиным аргументом, что зато мне безопасно за огромным непоколебимым Нотр-Дамом, а Люлюша в ее квадрате — как на передовой.

У одного писателя, моего ровесника, есть рассказик о том, как лейтенант и сержант пошли в разведку. Там была такая фраза: "Раздался выстрел. Лейтенант упал как подкошенный. Сержант насторожился". Примерно то же самое произошло с бабушкой. Когда ввели продуктовые карточки и на всю семью мы получили один рабочий паек — мамин; когда мужчины практически исчезли из домашнего обихода; когда соседка Вера, вернувшись с работы, увидела холм кирпичей вместо дома, в котором утром оставила дочь и мать, — бабушка насторожилась и решила поехать за советом к "брату Шуру" — врачу-педиатру.

Брат Шура был в нашей семье притчей во языцех: он никогда не пил, лежа на спине, чтобы не поперхнуться, никогда не гладил кошек — из-за глистов, и собак — из-за блох... Все самодеятельное лечение, производимое бабушкой, делалось именем брата Шуры: марганцовка, соляная кислота "от вялости кишок", шелковый салол от поноса, капли Датского короля... И на коммунальной кухне безапелляционное: "Господи, мне ли не знать! У меня брат-то Шура — врач!"

В гости к брату Шуру, как и в любое путешествие по блокадному Ленинграду, бабушка взяла меня с

собой ("Убьют — так вместе!"). Инструкция: всегда держать ребенка за руку, не отпуская ни на шаг, особенно с тех пор, как "пошли слухи" о каннибализме. Бабушка расплывается в трамвае — я, по инструкции, вцепляюсь в ее пальто и ни при каких обстоятельствах не отпускаю. "Если что — ори!" Я прожила, держась за руку, до 46-го года, до третьего класса школы...

Брат Шура жил со второй, "молодой" женой и новыми детьми, моими ровесниками (хотя им полагалось быть мне дядей и тетей). Тетя была даже на год младше. Наш с бабушкой блокадный визит запомнился мне как первый.

Жили они, понятно, в бывшей зале своей бывшей квартиры в бывшем доме купца Дехтерева на бывшей Фурштадтской, за бывшей Лютеранской церковью. (Да и сейчас там живут.) Это одна из неожиданно тихих улочек, отходящих от шумного Литейного, со старинными деревьями и особнячками. В парадном сохранились матовые стекла с прозрачным узором, и вдруг покажется, что за ними все еще идет бывшая жизнь... А войдешь... Холод, запустенье и мраморный камин, выкрашенный шаровой краской в цвет линкора.

На дверях Шуриной квартиры, обитых неведомой миру материей "гранитоль", было чуть не 15 электрических звонков — "воронья слободка", видимо, была не нашей чета. Однако ни один звонок не работал, потому что электричество, по новому, военному выражению, уже "скапутилось". И мы стали стучать...

О средневековые стучки военного времени! У каждого жильца — свой условный. Два длинных, три

коротких; на мотив "Старого барабанщика"... К нам стучали "Чижигом-пыжигом" ("Нюшка другой мелодии не знает". Чушь. Просто валили на ребенка, а на самом деле всей семье медведь на ухо наступил.)

Постучишь и прислушиваешься у глухих дверей с замиранием сердца. Неужели назад, не отогревшись, не повидавшись?.. Опять на мороз?!.. И вдруг слышится что-то, чуть громче стука собственного сердца — дверь хлопнула как будто или показалось? Нет, еще звук, и еще... шаги! Бабушка говорит: "Поздоровайся, не забудь". И с сомнением: "Нина Иванна вообще-то из аристократической семьи"...

Дверь нам открыл такой персонаж, что я сразу забыла скуку долгой дороги и почувствовала себя в театре. Представьте мачеху из "Сказки о двенадцати месяцев" на сцене старого Тюза на Моховой в исполнении, скажем, актрисы Викланд. Ну да... Вам не представить... Словом, взбитые кудельки, румянец, наведенный остатками свекольной парижской пудры, театральные заплатаы, французские булавки вместо пуговиц... И сладкое сопрано: "Ах, какая большая стала Галина девочка!" Это и оказалась молодая аристократка.

(Нина Иванна была предметом изумления всей семьи — как она, с водевильной внешностью и фиалками на шляпках, с доверчивостью курсистки, так и не научившись пришивать пуговицы, без жалоб все пережила и вырастила двух здоровенных детей. К старости она даже начинала какие-то административные хлопоты по поводу поездки к заграничным родственникам. Правда, мне запомнился из этой эпопеи только один эпизод. Однажды она позвонила в дверь коммуналки в городе Калининe,

где жила Марина, дочь "брата Шуры" от первого брака, тоже врач... И когда Марина открыла дверь, она увидела взмыленную Нину Ивановну, только что с поезда, которая в изнеможении прислонилась к дверному косяку и сказала:

— Слушай, Марина, у тебя случайно нет блата в Кремле?)

...В зале на Фурштадтской нужно было аукаться, и не только потому, что она была огромной, но туда во времена уплотнения втиснули мебель со всей докторской квартиры, и она превратилась в антикварный магазин, оккупированный беженцами. На старинной ширме сушилась пахучая детская простынка, записанная тетей. Сдвинув ее украдкой, я увидела перламутровых аистов, летящих по черному лаковому небу.

Мы с бабушкой сразу потерялись в мебельных дебрях, и я осталась на той половине, где играли дети. Тетя с дядей мне понравились: они были озорные, румяные и замурзанные — достойная мас-совка деревенской детворы из "Двенадцати месяцев".

В разгаре игры (разумеется, прятки) меня занесло в глухой лабиринт с дубовыми виноградными гроздьями по стенам. Я влетела туда на цыпочках и оказалась посреди как бы декорации кабинета. Под светом зеленой керосиновой лампы сидели действующие лица. Бабушка — прямо в пальто, примостившись у письменного стола и молча (тревожный знак). В кожаном кресле сидел ее мужской вариант — что уже было смешно — но на нем еще был засаленный плюшкинский халат и черная академическая шапочка. Семья положительно жила в традициях "Тюза". Брат Шура тоже сидел

молча и постукивал карандашом по бумагам. Вдруг он сказал отчетливо, как на сцене: "Апа, Антону (это дедушка)... Антону, с его язвой, скорее всего, не выжить" и поднял глаза. Мы смотрели друг на друга, и у меня было неловкое чувство, что я забыла свою реплику. Потом он поманил меня пальцем. Несмотря на нелепую театральность всей сцены, я не посмела не подойти.

Вблизи лицо брата Шуры меня поразило. До сих пор я видела своих близких или веселыми, или расстроенными по какому-нибудь конкретному поводу. А тут впервые, кажется, реализовалось для меня слово "печаль" — что-то, что вызвано не конкретным горем и не может быть рассеяно сиюминутной радостью. Думаю, это было первое замеченное мною интеллигентное лицо. С какой-то непонятной (и потому обидной) шуткой брат Шура осмотрел мое горло и пощупал железки... Когда он меня отпустил, я сразу ушла, подавленная, не захотела даже подслушивать — и напрасно, потому что, похоже, именно во время этого разговора бабушка решила, кому жить, кому умирать, а кому, между прочим, "вырезать" гланды.

Мы с мамой приехали на трамвае к огромной, как деревня, "Шуриной" больнице. Была осень и закат. Дядя и тетя играли со мной в парке, показывали укромные уголки и научили находить и есть кислющие ягоды барбариса (тайком, конечно, — немытое в обеих семьях приравнилось к цианистому калию. Источником заразы считался некий фольклорный "мужик": "Пойди вымой сейчас

же, а то вдруг мужик на базаре плюнул, почем знать")...

До сих пор помню прелесть запущенного парка, наше хихиканье, ягоды барбариса... Появились мама и брат Шура (на этот раз в белом халате, но при тубетейке) и позвали к врачу. Я беспечно заторопилась, чтобы скорей вернуться. К тому времени я уже бывала у врачей, но они еще не делали мне больно. И только оглянувшись на детей, я мельком удивилась, что они так смирно стоят, прислонясь друг к другу, и с интересом смотрят мне вслед. Тетя даже слабо помахала ручкой с вялым цветком. Медицинские дети знали об экзекуции и участвовали в заговоре.

Все, что потом делали со мной в кабинете, делали очень быстро. Главный прием (на редкость отработанный) — не дать ребенку опомниться. Огромная, как борец, медсестра села в зубоврачебное кресло (еще мне незнакомое), посадила меня на колени и, вдруг, обхватила могучими руками, не давая рыпнуться. Ноги стиснула чугунными коленями. Сзади вторая зажала локтями мою голову. И тут врач, показавшийся мне единственным человеческим существом в этом белом застенке (возможно, потому, что был представителем "исчезающего вида" — мужчиной), сказал серьезно: "Открой рот, детка, тогда я все сделаю очень быстро". Я помню даже то мгновение, когда животный протест, выгнувший мое тело дугой, был побежден бабушкиным голосом с небес: "Ну разве взрослый сделает ребенку плохое?! Что глупости-то говорить!" Я открыла рот и отдалась на милость незнакомца.

Боль была действительно короткой (или ее за-

тмилу короткое беспамятство), и самым тяжелым, кроме плена медсестерских объятий, оказалась необходимость полоскать режущее и кровоточащее горло марганцовкой, тем более, что одна из сестер все время раздраженно повторяла: "Господи, пять лет девице и не умеет полоскать горло!.. Тогда будем прижигать..." И опять моей надеждой оставался только врач. В ответ на мой панический взгляд он сказал ангельским голосом: "Ничего, пусть просто подержит там марганцовку и потом выплюнет..." И обе мегеры ворча смирились. Он как будто с трудом, по знакомству, преодолевал равнодушие: "Смотри-ка, от чего ты избавилась!" И показал зажатые в щипцах две розовые сросшиеся клецки — мою уникальную glandy.

Когда меня передали на руки маме, я все время от нее отворачивалась, чтобы как-то выразить возмущение предательством — разговаривать мне было категорически запрещено, под угрозой слова "прижигать".

Потом меня надолго оставили одну на кожаном диване в большом пустом кабинете — не белом медицинском, а нормальном, с письменным столом и книжными шкафами. Всклипывать было больно, глотать слезы еще больнее, и я утихомирилась. От старинного сумеречного кабинета веяло послеоперационным покоем. Есть (если с Вами это случалось) такой момент перехода после операции, когда пациент перестает быть просто плотью, парализованной страхом боли (или смерти), и потихоньку становится опять тем, кем он был до операции — скептиком, кокетливой дамой, ребенком из хорошей семьи... Стекла темных шкафов в

кабинете еще отражали розовое небо, значит, и времени-то прошло всего ничего — закат просто сполз ниже, к самым барбарисовым кустам... В воображении начали рисоваться сцены будущего — славной и энергичной жизни с удаленными гландами...

Прокрались на цыпочках дядя с тетей. Их румяные сочувственные лица совсем меня растрогали. "Все. Тебе больше ничего делать не будут. Дадут холодного молока"...

Дальше впечатления слились в чудный сон выздоравливающего. Вкус холодного молока с кровью и дети, которые незаконно пытались меня смешить (смеяться после удаления гланд тоже больно), были только началом. В кабинет, где мама закутывала меня поверх пальто в огромную шаль, вошел неожиданно (сердце мое екнуло) высокий офицер!.. Со всеми здоровался за руку... совершенно, к сожалению, не козырял. Мама сказала (задабривая, и потому с излишним восторгом): "Нюшка! Это Георгий Алексан-ч! Помнишь?.." Ко мне наклонилось узкое-узкое лицо с глубокой ямкой на подбородке. "Поехали?" и пробное приглашающее движение руками — не испугаюсь ли.

Мне было неловко у него на руках, бляха шинельного ремня набила синяк на коленке, к тому же я стеснялась его обнять, держала руки по швам, и поэтому меня от него относил. Наконец он с натугой сказал: "Держись-ка за мою шею". Тогда я положила руку на погон, как в танце, и украдкой нащупала три маленьких звездочки старшего лейтенанта.

Георгий Александрович принес меня не к

трамваю, как я ожидала, а к автомобилю, первому в моей жизни, военному, взрепевшему при нашем появлении! Автомобиль был открытый, поэтому меня и закутали в идиотскую шаль. По дороге быстро стемнело, так что ничего не стало видно, да и глаз было не открыть из-за ветра, и мама кричала мне в ухо: "Нюшка! Финляндский вокзал!.. Нева, Нюшка! Переезжаем Литейный мост!" Горло ныло, но момент счастья был уже зафиксирован, и чтобы не дать чувству растаять, я все время восторженно повторяла про себя: "Боже мой, я еду в автомобиле!"

Дома нас встретила бабушка. Лицо ее судорожно подергивалось от ответственности за совершенное злодеяние и от решимости немедленно сделать все, что принято. В комнате уже было тепло и для меня приготовлена жидкая манная каша с малиновым сиропом, имевшая вкус "Приключений Буратино".

Старлей оказался совершенно штатским душой, уж действительно Георгий Алексаныч, а не товарищ лейтенант — все время поправлял свою португую, как бретельку. Он отпустил машину и остался у нас ночевать, сказав, что утром доберется до фронта на трамвае(!) — как на какую-нибудь паршивую службу.

Мамина подруга Милочка перебежала площадку "навестить болящую". За ней тенью пришла Вера. (Даже я понимала, что Вера живет по инерции, и старалась не смотреть в ее огромные глаза. Вообще в блокаду у всех были большие и красивые глаза.) Зажгли коптилки. Меня не погнали за шкаф, а разрешили остаться на дедовой оттоманке, под одеялом. К моему беззвучному восторгу старлей вдруг открыл мертвое пианино. Глядя на меня и сладко мущая, он начал наигрывать то, что потом назвали

"Лейтенантским вальсом" (за рефлексию, я полагаю) и даже запел легким баритоном:

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука...

Танцевали, сдвинув обеденный стол. (Этой мерой решались все пространственные проблемы. Я была уверена, что в нашей комнате можно сделать все что угодно, провести сессию Верховного Совета — если сдвинуть обеденный стол.) Протанцовывая мимо меня, каждый считал долгом сделать замечание: "Только не разговаривай!", "Не вздумай петь...", "Не прыгай, ради Бога!" И я послушно сдерживалась, горячо прижимая к себе курчавого, с черным шелковым лицом Тома, единственного молодого человека среди моих игрушек. Помню, что Люлюша вдруг ни с того, ни с сего сменила хриплый смех на хриплый плач, чуть не испортив вечер, но на нее цыкнули, и она все извинялась...

Водопровод замерз в яркий солнечный день необычайной красоты. Меня посадили на санки, я обняла руками и ногами два вставленных друг в друга пустых ведра, мама крикнула: "Н-но, мертвые!", очень этим меня насмешив, и пустилась в галоп. Ей ведь тогда было, не правда ли, всего двадцать пять лет. Летели по бульвару со спиленными деревьями, мама смешила меня и оглядывалась посмотреть, как я смеюсь. Город заиндевел. Изморозь приравняла трупы, сидевшие на каменных тумбах у ворот, к нависшим над ними кариатидам. Она украсила развалины и сделала одинаковыми здания — сквозь нее едва просвечивал цвет. Прикатили, судя по всему, на Дворцовую набережную — заиндевелая голубизна торжественных фасадов осталась в памяти. Там былолюдно, и я было обрадовалась, но, увы, возбуждение оказалось паническим — гранитные ступени обледенели, и спускаться к прорубям стало почти невозможно. Одна закутанная фигура уже лежала у парапета и так странно, неестественно шевелилась, что хотелось, чтобы она наконец застыла. Небольшие пятнышки яркой крови на снегу поселили панику и в моем сердце.

Мама и еще две молодые женщины, тоже в ватниках цвета хаки, образовали недлинную цепочку до проруби. Я подавала им пустые ведра. Это был один из немногих запомнившихся моментов настоящего страха. Вот мама в белой ушанке наклоняется над черной, черной водой, опускает ведро... Наполняясь, оно тянет ее вниз... Как в кошмаре. Помню напряжение, с которым я сверху

смотрела на сиреневые сцепившиеся пальцы с побелевшими суставами: "Господи! Спаси и помилуй, не дай им расцепиться!" Одна закутанная попросила воды. Эта просьба вызвала во мне кулацкую ярость, но женщина, стоявшая наверху, сердито мотнула головой, и я вздохнула с облегчением. Наконец напарницы стали тянуть маму. Как я боялась, что они отпустят! Один раз она поскользнулась, я инстинктивно сделала шаг вперед и услышала хриплый, неузнаваемый крик: "Назад! Сейчас же! От края!.."

Потом все три, сидя на санках, курили "козьи ножки". Один закутанный, единственный из всех, принес ломик и пытался очистить ступени, слабо постукивая по мощной наледи. Я глазела, как взлетают снопы осколков и загораются на голубом фоне дворцов. Я опиралась на ватную мамину спину, слушала негромкие прокуренные голоса женщин, и счастье мое было таким острым!.. Не научилась еще жалеть себя.

Настроение мне испортил такой эпизод. Вокруг нас начала крутиться девчонка, постарше меня, серолицая и наглая. Все лезла и лезла поближе и крутила на пальце пустой бидон. Я не могла даже от нее отвернуться, потому что боялась, что бидон сорвется и полетит мне в голову. Он и летал, конечно, я пригибалась, а девчонка хохотала. Потом подошла уж совсем близко и говорит:

— А я все сама делаю! И карточки отовариваю!.. Съела?

Высунула язык, крутанулась на льду и отошла.

Собрались домой. Я уже не "ехала барыней", а должна была идти сзади и придерживать ведра.

Отойдя от толпы, мама вдруг сказала:

— Сбегай-ка, позови ту девочку, я дам ей немного воды.

Я совершенно взбеленилась:

— Почему этой противной девчонке?! Вон та тетенька у вас просила... Почему не ей?

И мать, сразу раздраженно, как обычно, сказала:

— Потому что давать надо не тому, кто просит, а тому, кому нужнее...

"Не проси" было третьей заповедью в материнском Евангелии — после "не убий" и "не укради". Как я потом завидовала людям, умеющим просить — обаятельно, победительно! А я все ждала, когда заметят, что мне нужнее. Вообще в мое время все приниженные формы просьб: "покорнейше прошу", "нижайше прошу" перевели в как бы достойные: "убедительно прошу", "настойчиво прошу", "прошу вас русским языком", "как человека тебя прошу", "в последний раз прошу по-хорошему". Но в моем лексиконе и теперь "просить" последнее слово — после "отчаяться".

Вы спрашиваете, была ли бабушка доброй. В детском понимании — да. Она не дергала за волосы расчесывая (что большая редкость)... Она никогда не раздражалась... Она раздражала. Так что с ней недобрым всегда становился ты сам.

Если она хотела, чтобы мать сделала что-нибудь против своей воли, она озабоченно повторяла: "Как пристану, как пристану к Гальке! Интересно — сделает или нет?" Повторение было ее оружием,

разрушительным, как вода и время. Во все ожесточенные, зуб за зуб, споры с матерью, продолжавшиеся десятилетиями (!), как непрменный рефрен-упрек, припев-напоминание, как красная тряпка матадора все эти десятилетия входила история про золотые часики. Случай с ними произошел в блокаду, и его героем был капитан Галкин...

Помню свой возбужденный бег вниз по лестнице, на свежем снегу Разъезжей военный открытый грузовик с грудой тонких бревнышек, молниеносную вороватую разгрузку, слово "кубометр", от которого веет жаром... В кузове — взъерошенный мятый человек. "Капитан, это моя дочь Аня"... И человек слетает на снег, взметая облако, щелкает каблуками, жестко и серьезно козыряет: "Капитан Галкин. Весьма польщен"... Потом скатерть-самобранка из вещевого мешка, небольшой пир с непрменной Милочкой... Мне дали глотнуть водки, и меня тошнило у печки...

Назавтра, в густо-синих сумерках утра я подглядываю из-под одеяла и вижу капитана Галкина в дверях, надолго припавшего к маминой руке... Мама говорит голосом принцессы из "Снежной королевы": "Галкин, вы всем нам спасли жизнь". Его печальный ответ был загадочным. Он сказал: "И совершенно бескрысно, заметьте!" Опять долгий-долгий взгляд на маму и: "Как только представится случай, совершу еще какое-нибудь служебное преступление, чтобы вас увидеть. Прощайте, гордая полячка. Я, пожалуй, поплету себя..." И я уползаю обратно под одеяло переживать и хихикать.

К вечеру обнаружилась пропажа часов — "с брильянтовыми розочками" и "на 16-ти камнях". Бабушка прямо обвинила в этом капитана Галкина и

произнесла слова: "Написать начальнику воинской части". Мама от этих слов впала в ярость и сказала: "Не суйся не в свое дело!" — "Как это не мое дело?!" Дальше пошел неинтересный "зуб за зуб", с маленьким, правда, перерывом, когда я, не удержав любопытства, попыталась выяснить, как спасают крысно.

Но главное было в обнаруженном мною пределе бабушкиного понимания людей. Капитан Галкин был за гранью ее интуиции. Но не моей. Я знала шестым чувством, что такие люди часиков не крадут, и мама знала, а бабушка — нет.

Вообще ее слепота к чувствам была поразительна. Мы приходили из кино, уже после войны — мама мрачная, с крепко сжатым ртом, я — опухшая от слез. Бабушка приветливо спрашивала:

— Что смотрели?

— "Рим — открытый город".

— Красивая вещь?

Пьесы Чехова, например, бабушку страшно раздражали: "И ноют, и ноют... — говорила она. — И чего ноют? Все, слава Богу, живы-здоровы, одеты-обуты... Войны нет, все хорошо!"

Нет, нет, она была доброй. Она помогала в беде, откликалась на понятные ей реальные несчастья. На чувства — никогда. Они с мамой, как два ангела-хранителя, стояли за моими плечами: ангел-хранитель тела и ангел-хранитель души. На двух противоположных концах колеблющейся шкалы, мама — чистого принципа, бабушка — чистого прагматизма.

Капитан Галкин никогда больше не появился. Мама думала трагически и возвышенно — потому

что убит, бабушка — приземленно — потому что бежал с часиками.

Надо сказать, что в коммунальной квартире именно бабушка, единственная, всегда была признанным арбитром. И как раз потому, я думаю, что действовала не по справедливости, а по доброте, то есть чутьем определяла, где кто уступит, и таким образом склоняла всех к мировой.

Я помню, что бабушкина беспринципность начала терзать меня довольно рано. И вот вам одно из моих первых разочарований.

Однажды (зимой и вечером) в дверь нашей комнаты поскреблись, и после кодовых вопросов бабушка впустила маленького Гарри Свинтусова. Мало ему было, что он Гарри — при рождении неначитанная паспортистка написала в его метрике вместо Гарри — Гарий (по аналогии с Юрием и Макарием?). Родители послушно и церемонно называли его Гарий, взрослые — Гарик, а сверстники — Гарька. Бабушка относилась к Гарику брезгливо, хотя он был чистым и добродушным мальчиком. По-моему, ее отвращало даже не его плебейское происхождение, а то обстоятельство, что Гарик не мог выучить ее полного имени — Агриппина Галактионовна. И каждый раз — сотни за мою жизнь — когда он простецки называл ее "тетя Апа", она неизменно бормотала: "Тоже мне, племянник нашелся".

На этот раз Гарик сказал то, что рано или поздно говорили все блокадные дети (кроме счастливых): "Тетя Апа, мамка с работы не пришла". И заплакал. Выяснилось, что мать Гарика в больнице для дистрофиков (его отец умер первым в нашей

квартире — слишком доверял газетам и ничего не запас), а самого Гарика определяют в детский дом. Попросили подержать его у нас несколько часов.

Накануне мама, в несчетный раз, дочитала мне любимую книгу "Леди Джэн, или Голубая цапля", где в такой же вот ситуации сиротства бедная, но добрая семья приютила маленькую оборванку, не зная, конечно, что она потерявшаяся аристократка и что всех ждет хэппи энд. И я стала горячо просить бабушку оставить Гарика жить у нас (хотя он как-то явно не укладывался в нашу жизнь). Бабушка, пойманная врасплох, не успевшая подготовить лжи во спасенье, сердитым шепотом останавливала эти мольбы. Бедный Гарик сидел у буржуйки. Дотрагиваться до него мне было категорически запрещено — чтобы на меня не переползли его вши... Маленький пария: зеленовато-белое лицо, а шея такая слабая и длинная, что голова не держалась, и время от времени он ронял ее на плечо, как младенец. Мне все хотелось дать Гарика понять, что его отправляют в детдом — детский синоним слову катастрофа — не из-за меня, а из-за бабушки, но предавать "своих" по маминому кодексу "хорошо-плохо" было низостью, и я только пихала Гарика не самые любимые игрушки. А когда бабушка вышла из комнаты (грозящим пальцем напомнив не прикасаться, упаси Боже...), Гарик вдруг сказал вяло и взросло: "А, не переживай, я все равно помру". Все смотрел и смотрел на огонь в печурке, пока его не увели. А игрушки забыл.

Потом у нас с бабушкой, естественно, была ссора, одна из немногих, в которых бабушка сказала осмысленную тираду законченным предложением.

Когда я, рыдая, ее заклеявила: "Если бы не ты, моя мама взяла бы Гарика!", бабушка жестко ответила: "Если бы не я, твоя мама легла бы на оттоманку, обняла бы тебя, и вы бы обе умерли". И это была чистая правда.

* * *

Я думаю, детская память безжалостна, как приبلудная дворняжка — немедленно выделяет в семье вожака. Иначе я бы запомнила деда ("Дед тебя обожал"). Из рассказов бабушки он, разумеется, встает человеком, говорившим одни банальности: "Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи"; "Никогда не одалживай денег друзьям — потеряешь и друзей, и деньги", и все в таком роде. Впрочем, это, кажется, с его легкой руки темный чулан с барахлом в нашей квартире стали называть "жилплощадью"...

Блокадного деда я помню словно в одной сцене — он лежит на оттоманке с вялой улыбкой, а я прыгаю на нем верхом, и его покорность и слабость разогревают мой энтузиазм. И бабушкино "Оставь деда в покое" звучит как "Не мешай деду умирать"...

Потом в какое-то минутное пробуждение среди ночи — бабушка держит полысевшую дедову голову у себя на локте, как ребенка, и поит его из заварочного чайника, прямо из носика... Тревога этой неестественной сцены... И мама, которая почему-то оказывается у нас в комнате, говорит: "Ш-ш, спи, спи... дедушке просто нехорошо, сейчас пройдет..."

И вот снежным, белым утром дед лежит на обеденном столе на полосатом чистом наматраснике. Его мертвость меня не пугает и не огорчает. (Потому что я привыкла к мертвым? Или, как легко раненый, почувствовала, что жизненно важные центры не

задеты?) Когда взрослые выходят из комнаты, я цепляюсь за свисающий край на матрасника и, скользя ногами по полу, выгнувшись, уезжаю далеко под стол, как на качелях. Р-раз! И другой! И вдруг снизу, из-под стола вижу чье-то взрослое лицо, и мне сразу до холодного пота делается ясным мое кощунство... 23 февраля 1942 года — День Красной армии.

Чувство утраты пришло позже и, как многие другие потери в моей жизни, преобразовалось в упрек бабушке, в еще одну черную косточку на счетах наших с ней отношений.

Со смертью деда мы потеряли "служащий паек" и шанс выжить. Но в Ленинграде вымерзло, кажется, все, кроме блата, так что уже через неделю бабушка, никогда до тех пор не служившая, устроилась секретаршей в мужскую среднюю школу номер триста с чем-то, на углу улиц Правды и Социализма. Вместе со службой она получила приют в теплой канцелярии для себя и меня на восемь часов рабочего дня, паек и возможность подкармливаться в школьной столовой. Платой была пустующая дядина комната, куда вселились два дистрофика, желавшие умереть с ленинградской пропиской.

Школа, в которую бабушка поступила, до революции столетие с лишним была петербургской Первой мужской гимназией и помещалась в типично петербургском бело-желтом здании на углу Ивановской и Кабинетской. Учились там, из тех, кого помню: композиторы Глинка и Римский-Корсаков (кажется, и живший неподалеку, на Загородном), а до этого Вильгельм Кюхельбекер... А преподавал там Лев

Пушкин, к которому частенько заезжал туда племянник Александр... Ну, словом, это была мечта культуртрегера...

Свою новую должность бабушка называла (и от других требовала) "делопроизводитель", относилась к ней с дореволюционной чиновничьей добросовестностью, держала в столе туфли на каблуках и пенсне.

Как-то очень быстро она и в школе завоевала право распоряжаться — я думаю, ее неколебимая уверенность в собственной непогрешимости действовала на людей, даже и на интеллигентных. Кроме того, она была поразительно толкова в полубессмысленном деле бюрократии и охотно спасала учителей от неприятностей — в том случае, если они признавали ее, бабушкину, необходимость и полезность. И почти все соглашались на эту игру, за исключением, по-моему, особенно нервных и тонких людей. Но и они часто смирялись — во время войны инстинкт самосохранения, естественно, сильнее рефлексий и гордости. Бабушка же была воплощением этого инстинкта — комиссаром семейной безопасности.

Чтобы я не скучала, меня брали на уроки. Мальчиков в классах я презирала. Как и предсказывал "брат Шура", голодание давалось им тяжелее, чем девочкам — они были вялыми, тупыми, многие засыпали на уроках, разомлев в тепле, писались, и учительницам стоило неимоверного труда вдальбивать арифметику в шишковатые, обритые из-за вшей головы. Когда я выходила (задрав нос) из класса вместе с учительницей, они провожали меня такими взглядами, какими больная

собака провожает обнаглевшую кошку, посмевавшую пройти вблизи.

Между прочим, в 44-ом, всего через несколько месяцев после снятия блокады, когда я сама пошла в школу и после уроков приходила к бабушке в канцелярию, меня-таки ждало возмездие. Путь в канцелярию лежал через вестибюль и был увит терниями. Мои косы были издерганы, черный передник изодран, ранец расписан чернилами... А когда лоб мне рассекли металлическим углом фанерного ранца, бабушка начала встречать меня на улице. Вот это были мальчишки! И как немного им, стервецам, понадобилось, чтобы ожить. Или это были уже другие, привозные?..

Строители Первой мужской гимназии не озаботились бомбоубежищем, но создали монастырский сводчатый коридор без окон. Во время очередной бомбежки вместе с младшими мальчиками попала туда и я. Пол коридора покрывали квадратные каменные плиты, как на старых тротуарах, под сводами мерцали синие звезды аварийных лампочек. Учительница сказала: "Внимание! Тишина!", и стало слышно, как снаружи, в опасном городе поет сводящим с ума голосом сирена воздушной тревоги. И именно опасность подмывала выбежать и посмотреть, что там случается, когда мы прячемся...

Учительница "велела" нам сесть в два ряда — спинами к стене, лицом друг к другу — и вытянуть ноги. (Я убеждена, что слово "велеть" в русский язык вернули дети. Смешно было говорить: "учительница просит" — это допускало бы возможность отказа; слово "приказывает" отдавало казармой. И тогда дети вытащили из сказок этот чудный архаизм некоего

государства: "Царь велел своим боярам, времени не тратя даром, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод".)

...Коридор был узким, так что когда все сели, ноги образовали частую гребенку. "Ну, кто у нас новенький?" — гулко спросила учительница и пома-нила меня пальцем. "Девчонка, девчонка", — заговорили наперебой мальчики. "Онка-онка" — повторило эхо. "Петров, тебя кто учил так говорить? Нужно говорить: девочка. А зовут ее Анечка". Тут мои дистрофики взялись за животы: "Ой, не могу — А-неч-ка!" Однако оживились, в них даже появилось что-то человеческое, задвигались, сплели ноги потеснее.

Мне нужно было пройти с завязанными глазами по всей длине коридора, не наступив, естественно, ни на одну ногу. "Поднимай повыше колени, — прошептала учительница, завязывая мне глаза и нос душным шарфом, а то заденешь за их ботинки. Не бойся, не бойся, только старайся. Я тебе буду подсказывать, куда ступать..." И вот в полной темноте, холодея, делаю первый осторожный шаг — пусто, пронесло... Второй... "Правее, правее, — кричит учительница, и я впервые слышу, как мальчики смеются. Чему они там смеются? "Давай, давай! Не бойся! Вот молодец, так молодец!"

В конце коридора меня, взмокшую от усилий, приняла другая учительница, развязала глаза и поздравила с боевым крещением. Я лопалась от гордости, хотя, оглянувшись на переплетение ног, мимолетно изумилась собственной ловкости. Все хихикали и аплодировали. С достоинством мастера спорта я села в конец ряда. Мальчики уже казались

симпатичнее, учительницы — просто прелесть. Наверху уютно погромыхивало (помню беспечный тон, которым всегда говорилось: "Это далеко-о, не в нашем районе"), впереди был остаток дня в теплой канцелярии, новая картинка для раскрашивания, подаренная директором школы...

Наступила очередь второго новенького. Его вывели из медкабинета, и он растерянно взглянул на полсотни косточек, которые ему предстояло переступить. "Не бойся! — надрывалась я. — Я запросто прошла!" — "Она прошла!" — смеялись мальчики. И эхо: "Ла-ла!" И вот ему завязали глаза. "Раз, два, три!" — скомандовала учительница, как и мне. И тут она сделала знак рукой, и все бесшумно убрали ноги — только мои остались лежать на полу. "Давай, не бойся! Левее-правее!" И новичок, идиотски задирая колени, балансируя и с незамеченной от возбуждения соплей под носом, затанцевал, как страус, по пустому коридору. Я не знала, плакать мне — и тем выразить истинные чувства, или смеяться — чтобы не показать их. И конечно, как и всегда потом в жизни, выбрала второе...

А тут и бомбежка кончилась (как написал бы Лев Толстой в своих сказках).

Реакции моих женщин на смерть деда были характерными: бабушкина — спастись, материнская — страдать. Она и выбрала — донорство. Тогда многие этим занимались, потом, кстати, десятилетиями не могли отвыкнуть и без этого даже плохо себя чувствовали.

Однажды (само собой, зимой и вечером) мы с холода вошли в парадное, где стены и лестница были такими же серыми и обшарпанными, как в любом другом, но где было тепло! и горел свет (аварийный, конечно. Вообще не только война, но и все детство прошло в полутьме, поэтому ярко горевшее электричество — во Дворце пионеров, например — всегда казалось роскошью). Лестница была узкой, как в обычном жилом доме. Мать оставила меня на площадке, наказав ждать, не сходя с места ("если что — ори"), подбодрила улыбкой, все еще белозубой, и ушла в дверь направо.

"Зал ожидания" — что за эклектическое выражение! Какая-то помесь эллинского с орвелловским. Вообще же больше всего приходилось ждать в коридорах — темноватых и холодноватых, как чистилище. В преддверии ада — кабинета зубного врача, например. Дети ждали больше всех, постарше — уткнувшись в книги. Это вырабатывало в наших характерах чугунную мечтательность, замедленные реакции, пассивность... Революция, Николас, вывела русских "Детей подземелья" из подземелья и поставила в очередь.

...На лестничной площадке, где я тихонько

грезила, шаркая спиной по грязной стене, вдруг наступило неприятное безлюдье, и я занервничала. Прошли, вероятно, четверть часа, от беспокойства выросшие в "долго"... Неожиданно дверь справа (куда все ушли) распахнулась, и сердце мое остановилось — из дверей стали по одному выходить потусторонние существа в белом. Белым закрыты были даже ступни ног, головы и пол-лица. Оставались только глаза и кисти рук. Они шли быстро, гуськом, не обгоняя друг друга. За дверью все по очереди делали одинаковый шаг в сторону, дотрагивались до стены, потом шаг обратно в свой потусторонний строй, и быстрым, бесшумным полубегом, цепочкой, через лестничную площадку — в дверь налево. Дверь мягко захлопнулась, и я так и не "заорала".

В следующие "долго" на лестнице не было ни души, и я маялась, и маялась, подвывая от тревоги. Наконец левая дверь открылась, и оттуда снова пошли белые, но на этот раз уже по-человечески, разболтанно, иногда парами... Даже слышно было бормотанье. Только тут я сообразила, что это и есть "доноры" и среди них — мама, но как ни вглядывалась, узнать не могла. Вдруг один отделился от строя и шагнул ко мне. Я отшатнулась, но белая рука поймала мои пальцы и впихнула в них марлевый пакетик. Вгляделась в глаза под маской — не мама, но явно женщина. Глаз подмигнул. Я облегченно засмеялась, кровь прилила к щекам... но "спасибо" сказать забыла, и это долго потом портило мне радость от чужой доброты. А в марле оказался осколочек глюкозы.

Мирная домашняя жизнь проходила вечером у буржуйки. Уже в темноте мы с бабушкой возвращались домой после очередей и "отоваривания продуктовых карточек" (вечной памяти Осипа), и по дороге она всегда рассказывала мне поучительные истории про детей, эти карточки потерявших. У бабушки, бесспорно, был талант заронить в детскую душу страх и робость — гарантии послушания. Метод простой — несколько конкретных запоминающихся деталей, которые при всей их безвкусности и примитивности, остаются во впечатлительном детском сознании на всю жизнь, как осколок, недоступный скальпелю: "...А девочка так испугалась, что потеряла карточки, что залезла под кровать, а мать ее оттуда — чугунной кочергой. Потом устала сердиться и говорит: 'Ну, вылезай уж, все, не буду больше наказывать...' А девочка-то молчит и не шевелится. Мать потянула за валенок, валенок снялся, и оттуда карточки-то и выпали"; "...Они как раз поднялись уже к своей двери, мать и спрашивает: 'А где карточки?' А девочка вспомнила, что забыла карточки в магазине, да как побежит вниз по лестнице, и со всего бегу-то и упала. А ступени-то каменные, так мозг, говорят, так и брызнул... Никогда по лестнице не бегай! Что бы ни случилось, иди спокойно, держась за перила". (И можете поверить, я никогда не бегала по лестницам. Так и вставали перед глазами бабушкины живые картинки, и я сама судорожно хваталась за перила... за руку... за подол)...

На нашей Разъезжей улице всегда задувало, как в трубе, и последние шаги до парадного я бежала бегом и тащила бабушку за полу ее подбитого ватой

зеленого пальто. Открыв тяжелую дверь, мы входили в египетские тьмы и холод парадного. Но (улучшение номер 1) там не было ветра. Бабушка чиркала заранее приготовленной спичкой. При ее свете мы быстро (но не порывисто, чтобы не задуть огонек) поднимались два пролета. А там уже глаза привыкали к темноте, окна на лестнице начинали чуть светиться, и третий пролет мы проходили ощупью.

Дверь нашей квартиры (все тридцать пять лет, что я в ней жила) не запиралась на ключ. В одной ее створке была щель для почты, как во многих старых квартирах. Над этой щелью изнутри была прибита мощная задвижка. Все "свои" просовывали палец в почтовую щель и отодвигали задвижку. Воры же додуматься до этого примитивного секрета не смогли. Однажды после войны — когда воровство из преступления превратилось в род занятий — какой-то специалист даже выпилил наш бездействующий замок, сломанный еще, как говорит бабушка, "в мирное время" (т. е. до 1914 года), но так и не нашел задвижки. Даже цыганки, послевоенная саранча, безнадежно царапались в наши двери — через почтовую щель они все были хорошо видны, включая тех, которые прятались, присев на корточки, на ступенях следующего пролета. (Старая цыганка проникновенно шептала в щель: "Слушай, красивая, если сделаешь что скажу, работать никогда не будешь. Будешь ходить под шляпой и с ридикиюлем".)

...Словом — войти в квартиру "своим" не требовало времени, что было и вообще важно, а особенно при моем нетерпении попасть в тепло и безопасность.

Внутри кожа с удовольствием регистрировала те считанные градусы, на которые температура в квартире была выше, чем на лестнице — паркет и многослойные обои стойко держали тепло.

В комнате мы сразу не раздевались, а сначала растапливали буржуйку: несколько полешек, две ножки от "венских" стульев, щепки, наструганные от дверцы кухонного стола, горсть пустых катушек и книга (все заранее приготовленное).

Когда пространство вокруг буржуйки согревалось, бабушка перевязывалась крест-накрест шалью и начинала уютно сновать. А я — с ногами на оттоманку, под плед, и там вместе со мной в тепле притулялись оттаявшие куклы и книжка с картинками.

(Перевязанные крест-накрест шали были частью бабушкиного спасательного ритуала — "Брат Шура... почки... не дай Бог, цистит... одна девочка схватила — накрик кричала...") Поэтому шерстяные рейтузы штопались-перештопывались, валенки береглись как зеница ока. В последнюю военную зиму в бабушкиной школе поставили силами детей роскошный спектакль по ершовскому "Коньку-Горбунку". Представляли в Доме культуры, я играла шамаханскую царицу в кисее и сарафане. По низу сцены тянуло холодом, и бабушка, к ужасу постановщицы и других мамаш, настояла на том, чтобы я играла в валенках. Помню, как чья-то интеллигентная мама нервно говорила: "Ну вы сами подумайте, может дочь солнца носить валенки?!" И как бабушка вдруг поставила ее в тупик с находчивостью простолюдинки: "А вы-то почему знаете, что носят дочери солнца?").

...Я терпеливо ждала, когда стукнет входная дверь

— мамин приход окончательно поселял в моем сердце вечерние мир и покой. Помню свою бурную радость, когда мама пришла раньше обычного: "Вдруг снаряд шальной как бабахнул!.. Мы — врассыпную... Мчались какими-то огородами... И кому-то я что-то при-нес-ла!!" И из газетного кулька — две турнеп-сины, огромные, со свежим овощным запахом огородной земли.

А помню тягостный поздний приход, когда я уже в постели, расстроенная, подслушиваю ее рассказы из-за шкафа: "Мальчиков-ремесленников стаскивали в братские могилы... Весь день... Сколько там было!.. Целое поколение".

Но обычная картина: мать торопливо моется в лохани у самой буржуйки, сливает в ведро, подтирает лужу, относит куда-то там вылить воду (я даже не знаю, куда, я за пределы комнаты почти не выхожу), потом смазывает обмороженные руки довоенным ланолином и, наконец-то, пристраивается рядом со мной для ежевечернего ритуала — чтения перед сном.

Две страницы сказок Гауфа на ночь были как ложка рыбьего жира, как единственное даже не лекарство, а противоядие, оказавшееся под рукой. Поэтому детские книги мать сжечь не дала (невзирая на бабушкино: "Что, и эту, грошовую, нельзя? Старую? Да ей копейка цена. Тьфу!"). В книгах было все, чего мне не хватало в жизни: лето, например, отцы, щенки и мороженое, но главное, — они не давали забыть маминьи критерии "хорошо-плохо" посреди разгула бабушкиных критериев "спасительно-губительно". Беда только, что в книгах все было лучше, чем потом в жизни: отец, скажем, когда

я с ним встретила, не пошел ни в какое сравнение с отцом из гайдаровской "Голубой чашки".

Сохранили все-таки "джентельменский" набор: Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Толстого. От Тургенева остался только один роман, самый редко читаемый — "Дым". Поэтому о нем у меня долго было какое-то скособоченное, салонное представление, пока я не прочла, уже в школе, "Записки охотника".

Полное собрание сочинений Достоевского бабушка сожгла первым, и не без злорадства — она не любила Достоевского за пессимизм: "Если девушка, то непременно несчастная, униженная, вся в слезах... Если собака, так обязательно какая-то больная, паршивая, ухо опущено и глаз гноится..."

Все детство я помню на обеденном столе толстую, тисненую кожаную подставку для чайника. Переворачивая ее иногда, я каждый раз вздрагивала: на оборотной муаровой, замызганной стороне крупно чернела надпись с твердыми знаками: "ХРИСТОС И АНТИХРИСТ" — последнее проклятье сожженного Мережковского.

Кажется, я никогда не видела, чтобы взрослые ели — только однажды (если правильно помню) я застала человека за едой, но деликатность подсказала мне немедленно отвернуться и уйти. Это было днем и при солнце: мы с бабушкой ходили к какой-то домово́й общественной деятельнице. На стук никто не отозвался, но дверь была открыта и мы вошли. Эта женщина сидела за столом, и перед ней на тарелке лежала освещенная солнцем дымящаяся горка реч-

ного жемчуга. Он переливался перламутровым матовым сиянием и, что называется, дышал. Женщина ела его маленькой чайной ложкой. Нас она не заметила, даже не повернула головы. Помню, что я вышла первая, а бабушка за мной.

— Это что?

— Называется "рис".

Ни голода, ни зависти я не почувствовала, просто запомнилось навсегда.

Из блокадной еды у меня была любимая, "так себе" и ненавистная. К ненавистной относилась "хряпа" — горячее ярко-зеленое варево из лебеды (это такой серебристый сочный сорняк, вырастающий на пустырях). К счастью, хряпа появлялась только летом, то есть очень редко. Так себе были щи из крапивы и "дуранда" — сухие зеленоватые жмыхи. Они были почти безвкусными сухарями, но не противными, и грызть их в углу оттоманки, рассматривая картинки в книге, было даже удовольствием. Любимыми были глюкоза и яичный порошок, которым, как соусом, заливали быстро растаявшие в Нотр-Даме макароны. Но главным деликатесом был студень из столярного клея. "Считалось", что столярный клей, довольно долго сохранявшийся в Ленинграде в виде плит, похожих на желатиновые, варился в свое время из свиных и говяжьих костей. Его заваривали кипятком, добавляли лавровый лист, перчинку... А бабушка еще разводила к нему горчицу, припасенную для горчичников... Получалось объедение! Мне студня почти не давали, ну разве один кусочек — "с вилки". Боялись, что детский желудок не вынесет его химической атаки. Может быть, поэтому он остался в памяти таким соблазном, даже помню вкус, и до сих

пор кажется аппетитным.

Главные ухищрения придумывались, чтобы избежать цинги. Ели сырой репчатый лук, дрожжи, проросший горох... Закладывали горсть гороха между двумя мокрыми тряпочками, следили, чтобы они оставались влажными. Через несколько дней горох прорастал. Разглядывая этот зачаток жизни — миниатюрное белое растение, сплющенное между двумя разбухшими половинками горошины, я грезила, что в ящиках на балконе разведу бобы, и мы будем есть их полными мисками, со свиной, как горои "Хижины дяди Тома".

Когда кончился горох, соседка Свинтусова надумила делать настой из хвои. Поздней осенью ездили на трамвае в Сосновский парк на Выборгской стороне и собирали мешки свежих сосновых игл. Раскладывали их в банки, заливали кипятком, добавляли чуть сахарина и настаивали в холодном месте. Кажется, так. Бабушка, конечно, знает точно, но в ее голове уже смешались все рецепты. Получался терпкий напиток, похожий на сосновую туалетную воду.

Все-таки у меня появились на деснах язвочки с научным названием "стоматит". Их как-то средневеково лечили, присыпая сахарной пудрой. И бабушка раздобыла для меня эту пудру, отдав взамен что-то, все равно причитавшееся советской власти.

Из кулинарных впечатлений остался еще один вечер, видимо, уже зимой 43-го, когда бабушка взяла меня в кино. Даже мама потом сердилась на отчаянность этого поступка ("Что за страсть к развлечениям!"), потому что в случае бомбежки из многолюдного кинозала трудно спастись. А зал-таки

был набит битком, и я, совершенно загипнотизированная, увидела впервые в жизни цветной американский соблазн под названием "Багдадский вор". Алё, блокадники, помните, как смуглый воришка и бледный принц оказались на восточном базаре? Как воришка прямо с крыши проткнул шестом огромный, круглый, зеленый плод... Это что?! И зал одним дыханием: "Арбу-уз!" Принц стащил пухлую лепешку и макнул в тягучее, золотистое... А это-то что?! И зал: "Ме-ед!" Еще ярко помню сковородку с жареной, с жарящейся, скворчащей колбасой на ладони у черного джина... Остальное — смутно.

Зато после сеанса нас ждало настоящее зрелище: над углом Невского и Владимирского, над кинотеатром "Титан", в голубом свете софитов шел воздушный бой. Люди, задрав головы, следили за серебряными самолетиками. Своих было не отличить от немцев, однако счастливое волнение передавалось по воздуху, как ветрянка — за нас дрались! Была сирена, но никто не уходил. Помню, что толпа была довольно молчалива и только аристократического вида высокая старуха уронила в снег фетровую шляпу и прокричала тонким голосом: "Бейте их, мальчики!" И вокруг засмеялись. А я прыгала, прыгала, и все прыгала, повизгивая, на одном месте.

Николас! Ваше письмо начинается на пять с плюсом: "Анна, или вы сказались?" Дальше пошло хуже — про возможное охлаждение, обиды и прочее. Николас, я не писала не потому, что забыла, или обиделась, или еще из-за каких-нибудь нелепостей, даже не из-за того, что так уж занята — а именно потому, что сказала. (Откуда вы слово-то такое узнали? Его даже у Даля нет.)

Мои старушки — будучи сами в относительном порядке — меня привели в такой беспорядок, что я трачу все душевные силы на убаюкивание в себе зверя. Я пыталась избавиться от старушечьего безумия, записывая их перлы в дневник, потом смотрю — все уже было: у Гоголя, у Салтыкова-Щедрина, у Островского. Они у меня обе точно прыгнули со страниц русской классики: одна — представительница "провинциального дворянства", другая — "столичного". Даже говорят цитатами. Бабушка, из угла дивана, как старая помещица из окошка: "Васька, Васька! Ты зачем?.. Что тащишь?.. — Да гуся, барыня. — Куда? Кто велел? — Да молодой барин, кто ж еще? — А ну, позови его сюда! — Позвать можно, дак ведь он не пойдет..." Ну, и протчая.

После семейного обеда Наташа возбужденно сообщает: "Бабушка! А у меня запор!" Бабушка сразу кричит с дрожью в голосе:

— Ньюша! Ньюша! Клизму! Надо сразу!.. Нету?! Надо сбегать купить, объяснить как-то по-американски, показать пальцами (показывает), что уж делать... Поймут... И здесь люди... Заворот кишок!.."

Мужнина тетушка (представительница столичного дворянства) спрашивает мелодично: "Что у Наташи?"

Я злобно говорю: "Ничего страшного, мелкие проблемы с желудком".

Тетушка сразу же мелодично советует: "От желудка помогает картошка".

Муж кивает примирительно: "А как же..."

Тут я все-таки спрашиваю с бесплодным, но неудержимым сарказмом: "От какой болезни помогает картошка? От запора или от поноса?"

"Ну я уж не знаю, от какой болезни, — с мелодичным достоинством парирует тетушка, — но всегда говорили, что от желудка помогает картошка".

Грубая старшая дочь спрашивает с дивана: "А поджопник от желудка не помогает?", ну и так далее...

Физически все бабушкины прошлого века механизмы, как говорят американцы, *amazingly intact*,* однако постоянный, ежеминутный страх всего, которого она не стыдится и не скрывает, а наоборот, старается дрожащими своими губами и руками передать мне, чтобы я предприняла некие спасительные действия, — вот что меня изводит. Потому что страх этот (к ужасу и отвращению) находит по какой-то не отмершей еще пуповине болезненный отклик и в моем сердце.

Давно, к сожалению, отошли в прошлое бабушкины бодрые *mots* первых месяцев. Теперь уже все наши соседские дети выучили кое-что по-русски и

* На удивление в порядке

кричат на ходу ее "простейшие" слова: "Бабушка! Нана́да!" (Это так она от них отмахивается, когда они пробегают слишком близко: "Не надо! Не надо!" И торопливо — с крыльца.) Бабушка боится детей.

Она боится: негров, наших опозданий (начиная с пятиминутных), почтальонов, конвертов с английскими надписями. Вскрывает их — рвет дрожащими пальцами — и пытается прочесть ("...по латыни-то я могу... ого-го! В гимназии всегда была первой ученицей..."). Ждет депортации. "Вот и в газетах пишут о гражданстве... На старости-то лет как стану персоной нон грата..."

Она перестала гулять — не потому, что ослабела, а потому что испугалась — и теперь только тихо шаркает по дому и неустанно добивается своего. Я и мелочи — вот все, что ей осталось, чтобы удовлетворять свою насущную потребность — управлять жизнью.

Единственная форма разговора, которая с ней всегда, сколько я себя помню, получалась — зуб за зуб. Любое обобщение в разговоре, или метафора, или шутка просто бесят ее как оскорбление. И такая, оскорбленная, она легко возвращает собеседника к изматывающему цеплянию друг за друга банальных (и для нее бесспорных) аргументов — в котором она непобедима. Правда теперь, от слабости, она стала применять детские уловки, даже иногда затыкает уши.

— Наташа! Не ходи в носках, надень тапки, простудишься! Наташа!..

— Бабушка, оставь ее, здесь тепло, здесь все так ходят.

— Мало ли что все. Погоди, начнется ревматизм, боль в суставах... Брат-то Шура, врач... "Ревматизм

только лижет суставы, а кусает сердце"... Не дай Бог!.. Наташа! Надень тапки... Надо бы ей валеночки такие короткие достать, как у тебя были после войны... А то в носках — вот она у вас все и простужается...

— Агриппина Галактионна, — говорит муж, — Вы у нас чистый Декарт — на все ищите причину.

— Что? Не слышу, дорогой. Плоховато стала слышать... Наташа! Надень, деточка, тапки...

Р-р-р!

Каждое утро, с раздражением, не утихающим годами, я наливаю ей кофе так, чтобы оно перелилось через край чашки и пролилось на блюдце. И все эти годы она приговаривает: "Что так мало? Лей, лей через край — я не половинкина дочка". ...Точно как тридцать лет назад — всегда наполовину заваленный чем придется стол (накрыто на краешке), и бабушка подносит налитую до краев чашку не к самым губам, а на миллиметр не донося, втягивая чай с оглушительным канализационным звуком. И мать, с точно таким же как у меня сейчас, а тогда возмущавшим меня раздражением говорит:

— Мама! Не сербай, пожалуйста!

— Ну вот еще, будешь меня учить... Что я, не знаю, как себя вести... В гимназии специально учили манерам. Мадам как ее... французенка... Гостей ведь нет. А при своих-то так аппетитнее.

По-моему, ей ни разу в жизни не пришло в голову, что со своими тоже нужно считаться...

Однажды днем заскочила соседка-американка, я угощала ее кофе и, собрав усилием воли раз-

бежавшееся стадо английских глаголов, вела разговор. Мы сидели на кухне, собирался дождь. Бабушка вдруг пришаркала из гостиной и стала задерживать занавески на окне, с безумным трудом дотягиваясь до них через раковину и все время попукивая от напряжения.

— Бабушка, не надо, нам будет темно.

— Как же, в грозу... все шторы задернуть... В Литве в сорок седьмом шаровая молния!.. ого-го!

— Бабушка, давай я помогу тебе дойти до дивана (и под руки, преодолевая ее явное сопротивление, — в гостиную, где шторы уже, конечно, задернуты). Посиди спокойно, пожалуйста, у меня гостя.

Но через несколько минут — неутомимое шарканье, постукиванье палки и новые попытки, кряхтенье, пуканье, бормотанье. На третий раз американка спрашивает с исследовательским интересом:

— Doesn't she drive you crazy?

— She certainly does.

— So? Why don't you try a nursing home?* Все американки, с которыми я приятельствую, похожи в одном — если они чувствуют себя плохо, они немедленно предпринимают что-то, чтобы чувствовать себя хорошо. Довольно естественно вообще-то. За ценой не постоим. (Особенно, если платят другие.) Терпеливость к душевным страданиям объясняется ими лишь пассивностью и русской склонностью к

* — А она вас не доводит до сумасшествия?

— Конечно, доводит.

— Ну? Тогда почему не попробовать богадельню?

мазохизму. Вообще многие американцы превращают, по-моему, свое записанное в конституции право на "pursuit of happiness" (стремление к счастью) в право на "feeling good" (что я бы перевела как "душевный комфорт").

На бабушку стали находить затмения — явно от страхов, а не от старости. Вчера были гости, я уговорила-заставила ее подняться к себе пораньше: "Посиди в кресле, почитай". В своей комнате она увидела за окном огни городка.

— Задерни скорей шторы, а то ходят с собаками... светят фонариками, лучи через окно пускают... в газетах пишут — смертельно... Мало ли что...

Я разубеждала, как могла, вроде, успокоила:

— А-а, ну и слава Богу.

Потом вдруг:

— А немцы близко?

— Немцы?! (Я даже не сразу поняла, что она имеет в виду войну). Ты что, бабушка! Война кончилась сорок лет назад.

Она даже как будто смутилась. "Да что ты? — говорит, — Так войны нет?"

— Войны нет, все хорошо — как в чеховских пьесах.

— Не слышу, дорогая... Значит, все нормально? Можно смело садиться в кресло?

Я потому и взялась Вам писать, что все уж так сегодня сошлось: Ваше письмо о Германии, бабушкины страхи... Судя по письму, Вы в полном восторге от старой доброй Deutschland, хотя школьников,

значит, учат кое-как? Шопенгауэра не проходят? Здесь тоже.

И мы, кстати, только что пришли от немцев, из гостей — от одного завсегдага Вагнеровских фестивалей. Принимали тепло, только все вглядывались друг другу в лица: мы — не мелькнет ли антисемитизм, они — не мелькнет ли подозрение в антисемитизме. Тамошняя бабушка за ужином тоже показала класс, уверяла, что голод в Соединенных Штатах не наступает только потому, что немцы все время помогают голодающим американцам продуктами... Сlopали апфель тортен, послушали отрывок из "Тангейзера" (я хотела попросить что-нибудь из "Нюрнбергских майстерзингеров" — удержалась), повспоминали Вену. Ну чем не эссовский вечерок?

Так.. На кого бы еще пожаловаться? На детей, конечно. Но это надо писать отдельный донос. В следующий раз...

Поклонитесь от меня Великой Германии, родине нашей общей прабабушки Юлии Юлиановны.

Целую, хайль Гитлер, Ньюша.

P. S. Посылаю с письмом очередную порцию своих обрывков. И снова целую.

* * *

Дорогой Николас!

Не писала потому, что сидела остолбеневшая от чувства вины. Месяца полтора назад я поднялась из подвала поздно, часов в одиннадцать. Весь день предвкушала, что посмотрю по телевизору "Корабль дураков". В гостиной бабушка громко сосала конфету. Я, как детсадовская воспитательница, хлопнула в ладоши и сказала (тем бодрее, чем меньше рассчитывала на успех): "Время! Старушкам пора подняться к себе. Теперь наша очередь смотреть телевизор". Вся детскость с бабушки моментально слетела, и она ответила с коммунальной интонацией: "Ну и смотрите! Гостиная — общая комната. А то будут мне указывать, когда уходить!.." Первый раунд был проигран. Я ушла в кухню, вымыла какую-то тарелку, попила... "Корабль дураков" уже начался. В сущности, меня погубила страсть к кино — будь фильм похуже, я бы ушла от греха, а тут не выдержала, подседа к телевизору. Бабушка, не помнящая зла, добродушно комментировала: "Кто это? Это не Женя, Алин муж? Нет? А как похож! И глаза, и брови... Понесся куда-то..." Накаляясь, я мысленно перечисляла, чего я из-за нее лишена в жизни... Краем глаза заметила, что фильм замечательный... Вдруг бабушка затеяла игру: взяв в рот карамель, она давала ослабнуть вставной челюсти, и челюсть с конфетой перекачивались у нее во рту с громким костяным стуком. Пять минут, десять минут... Тут я увидела, что я встала, подошла к

бедной старушке, забрала в горсти отвисшую старческую кожу на щеках и шее и стала ее с остервенением сжимать, в общем — душить... Продолжалось это доли секунды, но в эти доли я испытала шизофреническое наслаждение. Бабушка не испугалась, только обозлилась, обругала меня чертом собачьим и все легко забыла после взятки — мисочки желе. А я?..

Когда я волокла старушку с собой в чуждый мир, я мысленно обязалась ее беречь и ухаживать за ней, а должна была обязаться — ЛЮБИТЬ. Моя забота — ничтожная компенсация испарившейся детской любви. Долг. Крест. Я лихорадочно распахиваю одну за другой какие-то забытые дверки в душе, тереблю воспоминания — ничего, сухие корни, ни ростка... Я вечно обездоливаю ее — например, не давая побеждать в мелких ежедневных конфликтах, хотя знаю, что именно победа необходима ей для самоутверждения. Ту борьбу воль, которую она сама двадцать с лишним лет моей жизни кончала неукоснительно, любой ценой — победой (пользуясь ложью, моральным шантажом, абы чем), я теперь, испытывая особенное отвращение к таким победам, кончаю простым насилием: увожу, крепко взяв под руку, в ее комнату, стригу ногти, купаю (мытья она ненавидит и боится; стоит голая, чуть не плача от беспомощности, но все еще сильная волей, и, подняв артритный палец, говорит зловеще: "Нюшка! Прокляну!..")

Да что там оправдываться необходимостью, ее же благом... Иногда я просто не в силах дать ей победить — по мелкости души! Любящий уступил бы, необходимость скрасил лаской — уговорил бы,

успокоил, расцеловал... А я все вспоминаю, как мать передергивало, когда бабушка собиралась ее обнять. И меня теперь точно так же передергивает. Когда я захожу в ее комнату, глаза мои, чувствую, тускнеют, губы складываются куриной попкой... Летом у меня все тело покрылось сначала часоточной сыпью, а потом гнойными язвами. Здешние врачи назвали это аллергией к растению "poison ivy", но как ни называй — это были язвы Суллы, болезнь тиранов.

До сих пор я хоть гордилась — что выполняю долг, тяжкий, годами... Но если, действительно, это ничто в сравнении с любовью, даже беззаботной и безответственной... что же мне остается для самоутешения? То-то я смотрю: как странно — выполнение (христианского?) долга каким-то образом не спасает мою душу, а губит. Мельчит, обесцвечивает — отнимает Божьи дары...

С ней, Николас, жутко теперь бывает — как будто мы обе стоим на краю могилы. То вдруг ей показалось, что мы в Финляндии, на даче, как перед революцией, — "Закрывай окна, а то там финны ходят". То сидит, собравшись в дорогу, прижав к себе вещи: альбом с рождественскими открытками, пачку печенья, спрашивает озабоченно: "А когда нас по домам-то?" А то вдруг начинает одеваться, натягивает пальто. "Бабушка! Ночь на дворе". — "Да знаю (раздраженно), что я, ребенок... Немцы придут, так вы, небось, все сбежите, оставите меня на поруганье..."(!)

— Бабушка! Да я когда-нибудь тебя оставляла?!!

— Что? Не слышу, дорогая.

Мне вдруг сейчас вспомнилось: в вымытом хлоркой коридоре поликлиники, после двухчасового томле-

ния в очереди, убивающего решимость, мы с бабушкой стоим перед дверью зубокабинета, где через несколько минут начнут неспеша удалять мой засидевшийся молочный зуб, без укола, без новокаина, без обезболивания. И меня уже знобит в предчувствии бездушного крика: "Следующий!"

— Бабушка, миленькая, давай уйдем, ну пожалуйста, я не могу!..

И она смотрит на меня на все решившимися голубыми глазами и говорит бесповоротно:

— А ты — ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ.

Вот это, пожалуй, единственное, чему она меня научила.

Конечно, я могла никому не рассказывать про свое злодейство, но мне нужно было чье-нибудь утешение: "Забудь. Ты — не душительница старух!" Русским такое рассказать невозможно. Я попробовала на одном своем приятеле, самом отпетом, — алкоголизм, дебоширство, бесхозные дети от Тайги до Британских морей... и даже он был шокирован. Муж увидел, что я расстроена, и говорит:

— А потому что как свой крест несешь?! Разве кресты так носят? Надо, чтобы он как штык стоял, как флаг! А у тебя?.. Клонится, за кочки цепляется... Тьфу, противно смотреть!..

Так что вся надежда, Ник, на Вашу иностранность. Целую и посылаю остатки записей.

Аня

Еще один веселый блокадный вечер начался со слез, бабушкиных(!). Она вернулась с собрания жильцов, поздно — Люлюша уже забралась в свой квадрат. Из обрывков разговора, который я подслушивала, выглядывая из-за Нотр-Дама, как химера, стало ясно, что Ленинград готовятся сдать немцам. И я слышала, что бабушка, чьим единственным ругательством было "черт собачий", сказала сквозь слезы: "Сволочи! Вот сволочи!" — как соседка Свинтусова. И от этого злобного слова у меня мурашки пошли по спине.

На собрании бабушку учили тактике уличного боя. Более того, она объявила маме и Люлюше, что на балконе будет установлен пулемет и она, как "ответственная квартиросъемщица" (Осип, салют!), назначена пулеметчицей. Тут обе слушательницы начали так смеяться, что грех было не воспользоваться случаем. Я вылетела из-за шкафа, кувырнулась в квадрат и каталась там от хохота, пока кресла не раздвинулись и мы с Люлюшей не оказались на полу.

Кажется, в один из этих дней раздался в нашу дверь легкий, не условный стук. Бабушка, в отличие от остальных все еще готовая схватиться со смертью, долго визитера не впускала. Наконец вошел странный солдат в замызганной, нестандартной какой-то форме, стащил с головы пилотку (это зимой!) и сказал простуженно: "Здравствуйте, Апочка!"

Дальше на несколько секунд я отвлеклась от их разговора, чтобы насмерть влюбиться — такое лицо я

видела потом только однажды, у юного Жерара Филиппа. Трагически красивое лицо. Я опомнилась, когда увидела, что бабушка в чем-то категорически ему отказывает.

— Нет, Кирилл! — и головой, руками, всем телом — НЕТ!

— Тетя Апа! — вдруг заговорил мой принц, как Гарик Свинтусов... Штрафбат... смерть... Они бросают в бой без винтовок!

(Я лихорадочно пыталась представить: бросают? Как бросают? Сбрасывают с парашютами?!)

— Тш-ш, тш-ш! — зашипела бабушка. На лице ее отразилась такая сердитая паника, как будто ребенок, всегда "считавшийся" здоровым, вдруг отвернул край рубашки и показал гноящуюся рану.

Пришелец послушно зашептал: Только до утра... Комендантский час... Патрули и мороз...

И бабушка, со страстью: Ребенок!.. Рисковать?!.. и: "Ты же дезертир!"

Тут он взглянул на меня. Слово "дезертир" меня парализовало. Дезертир — хуже фашиста, и я отвела глаза.

Волнение ушло с лица моего принца, оно стало мертвенно спокойным. Оно отчуждалось с каждой секундой. Оно становилось чужим не только бабушке, но и мне... О, вернись! Ведь я не смогу забыть тебя всю жизнь!

Он медленно, медленно надевал пилотку. А когда бабушка нетерпеливо перекрестила его, зло усмехнулся и вышел. (To eternity.)

Дальше как будто все произошло так: канонерская лодка "Бира" (название непонятно) застряла в Ладожском озере на ремонте и зазимовала во льду. "В кейптаунском порту, с пробоиной в борту 'Жаннетта' обновляла такелаж"... "Команда корабля решила взять шефство над одной из школ осажденного города". Божий перст указал на Первую мужскую гимназию.

И вот помню долгое закутывание, ледяные сумерки ноября? декабря?, огромный военный грузовик с брезентовым верхом, красочные бабушкины наставления: "Дыши в шарф... Схватишь ангину... нарывы в горле... гной трубочкой вытягивать..." Потом многочасовая трясучка в темени. Холода сперва не помню, только тесноту. С нами ехало несколько молоденьких распорядительниц, все незнакомые (наверное, дамочки-чиновницы из РОНО, вытеснившие учительниц для такой дух захватывающей поездки). Всю дорогу они пели, чтобы нас подбодрить, пока не охрипли. Мы тоже подпевали, я послушно — в шарф. Среди семи-восьмилетних мальчиков, которыми был набит грузовик, затесались только две девочки: я и дочка одной из учительниц Маша, обеим по пять с половиной. Все были закутаны так, что не могли пошевелиться, но все же под конец мы, как-то сразу, начали замерзать. Мальчики захныкали. Мороз, действительно, был трескучий.

В какой-то момент грузовик вдруг пошел резко вниз (внутренности остались наверху), тряхнуло, дамочки завосклицали: "Ладога! Ладога!", и одна сказала с чувством: "Пронеси, Господи!" Нас пошло трясти, как на ухабах — это мы съехали на лед.

Мне показалось, что машина даже не притормозила — ее продолжало подбрасывать, мальчики выли, я изо всех сил сдерживала тошноту, тем более, что рядом уже кого-то рвало. И вдруг брезентовый полог перед нами откинулся, и на борт грузовика взлетели два черных ангела. О Боже, это были воины! Не мятые, запыленные пехотинцы, которых мы иногда видели в Ленинграде, не полуштатские презираемые мной лейтенанты с бретельками, а моряки! Черные бушлаты, мерцающие пуговицы... А когда один поднял ногу, чтобы переступить через кого-то, стали видны воспетые уличной поэзией "клеши". (Одеты они были, прямо скажем, не по сезону, но это уже замечание еврейской "mother of two"* , как говорят американцы.) Тогда же мы замерли. Вой и хрип прекратились. Меня перестало мутить. В свете "летучих мышей" лица моряков были такими... надежными, такими мужскими... И один из них гаркнул не какое-нибудь банальное: "Здравствуйте, ребята!" или "Товарищи октябрята!", а:

— Аврал, салага! Сейчас будем швартоваться!

И мальчики, как говорили мы в детстве, "сразу оживели" и даже делали попытки самовольно разматывать шарфы и шали, ставшие вдруг старушечьими.

Канонерская лодка, за которую мы так беспокоились по дороге ("Как мы на ней поместимся?", "А на ней что, парус?"), оказалась стальной машиной не хуже линкора. Я увидела ее издали, из-за распахнутого брезента, еще стоя на борту грузовика.

* Мать двоих детей

Память моя рисует корабль в огнях, как потом на невских парадах, но думаю, что это аберрация. В остальном картина поразила неестественностью — урчащий и пыхающий паром серый корабль посреди снежного поля. И по этому полю — от полыньи вокруг корабля до грузовика — цепочка черных бушлатов. Нас передавали по рукам, как ведра на пожаре. И каждый тормошил или чмокал в онемевшее лицо, или терся одеколонной щечкой... Так, с замиранием сердца, почти перелетая из одних сильных рук в другие, все тридцать, или сколько нас было, — по длинющему трапу, через дымящуюся полынью... Из-за последнего плеча мелькнула книжная картинка — палуба корабля, и сразу благостное, полное запахов еды тепло чего там — кубрика, камбуза... Военная сказка девятьсот и одной ночи.

Дальше так — все дети были заранее распределены между моряками, но когда нас раскутали и обнаружили две девочки, началось какое-то лестное для нас обеих волнение. Желающих взять под свое шефство именно девочек оказалось довольно много, и капитан принял такое Соломоново решение:

После ужина, во время которого мы опьянели и засыпали, пристроив головы между тарелками, нас с Машей повели в офицерскую кают-компанию. Дверь туда была закрыта, перед ней толпились матросы. Один опустился на корточки и объяснил, что в комнате, куда я войду, будет сидеть несколько офицеров (среди них капитан) и что я должна выбрать из них "шефа" — просто подойти к тому, кто мне больше всех понравится... Открылась дверь, и за моей спиной наступила полная тишина. Пере-

ступив очень высокий порог, я сразу увидела седого человека, как будто только что стершего с лица улыбку, и безоглядный детский инстинкт сказал: этот! Помню, что справедливости ради я быстро обвела глазами остальные лица, но все они были чужими и начальственными. Со вскриком радости я кинулась к своему избраннику — он едва успел встать — и была с размаху заключена в крепкие объятия мичмана Федора Ивановича Поливанова.

Вокруг поднялся шум и гогот, подошел капитан и сказал, не без зависти по-моему: "Что, мичман, любовь с первого взгляда?" И прижимаясь к своему первому избраннику, я не подозревала, конечно, что выбрав мичмана Поливанова, выбрала жизнь...

Маша такой определенностью чувств не обладала, она долго стеснялась, не знала, кого выбрать, и наконец подошла к тому, кто был ближе.

Пять дней на "Бире" прошли как в кино: я спала на подвесной "койке" с крошечной лампочкой в изголовье, матросы научили меня танцевать "яблочко" и петь "Варяга". Вообще, мы, девочки, оказались в особом положении. "А ну, Анечка-Манечка! — говорил кто-нибудь, — Айда машинное отделение смотреть!" И подхватывали на руки, и ссыпались по крутой не то слово — вертикальной лестничке вниз, грохоча сапогами... И в голове таяло беспшибашно бабушкино наставление: "...Всегда спускайся медленно, держась за перила... головой о железную ступеньку..." и так далее.

Я кокетничала и даже позволила себе покапризничать, так что однажды мне сделал замечание какой-то интеллигентного вида матрос. Но мой мичман сразу замигал, засипел (голоса как такового у

Поливанова не было), замахал руками, засмеялся и как-то загладил неловкую минуту.

Когда же эта рождественская сказка кончилась, мы были закутаны опять в наши тряпки (каждый с сувениром — матросским полосатым воротником) и посажены тем же манером в грузовик. (Помню зависть к одному очкарику, у которого поверх мехового капора была надета подаренная бескозырка.) Но на этот раз мичман Поливанов и его корабельный сын, матрос Саша, отправились меня провожать. Интересно, что огромный добродушный Саша, по которому я безнаказанно карабкалась, как обезьяна по мачте, тоже почти не пользовался голосом, а только жестами и мимикой. Саша тащил рюкзачок с сухим пайком — для Анечки "на потом". И когда на месте встречи они увидели мою маму, мою дистрофичную, но все еще красавицу, они предложили донести обе тяжести — Анечку и паек — до самого дома.

Так нашей семье на последнюю блокадную зиму был послан ангел в чине мичмана, а с ним пайки и охапки дров. На каких попутках, трамваях или патрульных машинах они с Сашей добирались? Что их тянуло к нам? То ли, что заподозрит всякий взрослый? Семейные уют и тепло? Или просто благородство души? А могли они чувствовать, что маленькая девочка, росшая в женском обществе, любила (и действительно искренне, горячо, почти болезненно любила) каждого появлявшегося в ее жизни мужчину и испытывала сердечную боль, когда он исчезал?.. С их появлением, всегда неожиданным и всегда с тайной надеждой ожидаемым, в доме начиналась праздничная суета. Зажигались коптилки

и свечные огарки, и в их уютном дрожащем свете на стол вытряхивались победно и катились консервные банки (я с визгом ныряла за укатившимися под пыльную мебель), свертки, расплывался по комнате запах тушенки, какао и американского шоколада, приглашалась Милочка, заводился патефон... Жилое пространство раздвигалось... В заброшенной маминной комнате стелились чистые ледяные простыни...

Через восемнадцать лет, в 61-ом — я помню это точно, потому что моей старшей дочери было несколько месяцев — в воскресенье, на пороге нашей (все той же) комнаты снова появилась, как призрак, знакомая пара: Федор Иванович, старенький, но совершенно не изменившийся, и Саша — заматеревший. Интересно, что когда они пришли, нас снова было трое, мужа не было дома — к сожалению. Мы с мамой с воплями на них повисли (бабушка вела себя сдержанно — как всегда имела по поводу неожиданных гостей, что называется, собственное мнение), начали хлопотать, расспрашивать, накрывать на стол. Вытащили все, что было в доме, все припасенные для праздников шпроты и маринады, варенье, соленые грибки... нашли в буфете початую бутылку вина, вытащили фотографии... Но я видела, что Саша все мрачнел и мрачнел, и даже Федор Иванович, который, лучась, рассказывал о своих дочках, как-то растерялся. Когда дело дошло до первой рюмки, Саша вдруг порывисто встал, как и раньше — ни слова не говоря, снял с гвоздя продуктовую сетку, сделал какой-то сложно-сочиненный жест и вышел. На наше недоумение

Поливанов законфузился, замахал руками и засипел, что Саша ничего... сейчас, одну минутку... только слетает за водкой... И снова оживленно заговорил. Бабушка помрачнела и стала с настырной выразительностью поглядывать на мичмана. Я чувствовала, что что-то неладно и бестолково переживала... Прошло полчаса, Саша не возвращался. Поливанов опять засуетился и сказал, что сейчас... ничего... он сбегает за Сашей, и через минутку назад. Он выскочил почти бегом... и не вернулся никогда — ни он, ни Саша.

Мы с мамой, расстроенные, долго стояли у окна, все высматривали их на улице и гадали, что случилось. Мать не открывала своих предположений, но я и так знала, что они романтические: Саша 20 лет назад влюбился в маленькую девочку, ждал, наконец приехал в надежде... а она качает младенца...

Я сосредоточилась на своем — на чувстве вины: надо было, наверное, самой "слетать" за водкой... ведь (с их точки зрения) какая встреча без "поллитры"? Какие воспоминания?... А сзади ходила наша "представительница окружающей действительности" и неостановимо бубнила: "Такая сеточка!.. Надо ведь, самую лучшую выбрал... Прочная была, а, главное, размер такой удобный..."

Ей-богу, иногда мы были в собственной стране как иностранцы.

Детали утра 27 февраля 1943 года. (Впрочем, это могло быть утро 28-го или 29-го. В России новости сообщают народу только после того, как правители решат, что с ними делать.) Есть даже какое-то смутное ощущение, что это было в марте — потому что помнится весна.

Меня разбудил и сразу поразил грохот парадной двери. Трехлетний опыт подсказывал, что блокадник, как дикий зверь, издает шум только в чрезвычайных обстоятельствах — грохот мог быть лишь наглостью победителя или умирающего. Но и на предсмертный кураж это было не похоже — умирали в блокаду обычно покорно: садились передохнуть на тумбу у ворот или не просыпались утром... И пока по коридору до нашей двери стучали торопливые шаги, я все больше возбуждалась и, притаившись под одеялом, ждала сюрприза. Но когда забарабанили по-управдомски в дверь и громкий голос Милочки, с каким-то звоном, не дожидаясь "Кто там?", нарушая все коды, сказал, ничего не объясняя: "А ну, вставайте, сони!", я даже высунула из-под одеяла нос, который тут же заледенел.

Ах, я помню этот Милочкин проход по нашей холодной загроможденной комнате — в распахнутом халате, мимо "квадрата" со встрепанной головой, к окну и, о Боже, одним движением, как какая-нибудь леди Гамильтон, она срывает синюю штору! Напрочь, с треском!

Мама, ахнув, кидается к черной тарелке радио, и левитановский баритон, как родственник, переживший с нами блокаду, рокошет над останками города: "...должавшаяся девятьсот дней и ночей, — секундная пауза, и шаляпинское — п р о р в а н а!"

И последняя картинка блокады: бабушка в несвежей фланелевой ночной рубаше, сорванная с постели, в пенсне на габсбургском носу, наяривает на пианино "Собачий вальс".

Тарарам — пам-пам,
Тарарам — пам-пам,
Тарарам-па, ум-па, ум-пам-пам!

Но все-таки был у меня взрыв ужасного, безутешного детского горя по поводу блокады, только оно обрушилось на меня года через два после ее снятия, или около того... И случилось это в школе.

Но сначала немножко о том времени, чтоб Вы представили...

В 44-ом, шести лет от роду, я поступила в бывшую Стоюнинскую гимназию на бывшей Кабинетской, напротив бывшей Синодальной типографии. (А по-настоящему — в 320-ую женскую школу на улице Правды.) Класа до 9-го мы смотрели в окна на огромную полукруглую фреску — Бог-вседержитель на облаке. Потом ее замазали. Да уж поздно...

Стиль школы, словно по гимназическим традициям, был не советским, директриса, уютная старушка, ввела уроки рукоделия, другая старушка, в солдатской гимнастерке, помню, изображала куропатку из рассказа Пришвина, которая, защищая от ястреба птенцов, притворялась хромой и уводила хищника от гнезда. А моя соседка по парте Нюся Брук была самым смешливым человеком на свете...

Словом — в школе все шло славно. Но на улице...

На улице были Брянские леса! Наша Правда за время войны просела посередине, так что по всей длине улицы — от Звенигородской до Разъезжей — шла глубокая канава, заполненная водой и железобетонным ломом разбитого города. И по этим железобетонным островам прыгали, как брянские партизаны, вооруженные уличные мальчишки. Стреляли из рогаток — обрезками железа, а зимой закатывали в снежки обломки льда.

Самое страшное было учиться во вторую смену — с 3-х до 8-ми. Кончали в темноте. Матери распределяли дежурства, так что кто-нибудь из них ждал у дверей школы. Каждая немедленно обрастала слева и справа двумя шеренгами девочек. Все старались оказаться поближе к ней, отпихивались и ссорились. Странные эти построения, похожие на пчелиные рой с маткой посередине, начинали медленно двигаться от Стоюнинской гимназии под массивным обстрелом с островов.

— Хулиганье! — кричали престонародные матери.
— Бандюги! Щас милицию позову!

— Молчи, блядь! — отвечали дети.

— Постыдитесь, мальчики! — зывали интеллигентные матери. — Это же девочки, вы должны их защищать!

— Мадам! — кричали с островов. — Внимание! Пли!

И залп!

На загаженном углу Правды и Социализма рой расходился в разные стороны. У каждого парадного и подворотни две-три пчелки отцеплялись от роя и ныряли в свой улей. Остальные после короткой

борьбы за место смыкали ряды, и рой, жужжа, полз дальше.

К великому облегчению моего детства со мной на одной лестнице жила одноклассница Лена Чулкова. Мы старались держаться вместе, так что даже в самые жуткие моменты этих одиссей нас (как и всех собравшихся вдвоем девочек) выручала спасительная смесь страха и смеха. Мы жили в самом дальнем от школы конце квартала. По дороге наш рой все таял, таял... В доме 10, огромном, обычно оставалась дежурная мама, в дом 6 ныряла Ася Колодезникова, и на последние три больших дома мы оставались одни, вцепившиеся друг в друга и умиравшие от страха и смеха. На обломках домов, как индейцы на горных пиках, маячили враги. Я служила главной мишенью, потому что Лена была закутана в серый оренбургский платок и походила на взрослую, а у меня на голове розовел вязаный фунтик с помпоном и лентами под подбородком. "Делай вид, что ты тетка!" — сердилась Лена. Я горбилась и придерживала прыгающий помпон.

Коммуналка Лены Чулковой была прямо над нашей, и их с матерью большая комната — точно над нашей с бабушкой, так что летом мы прекрасно могли бы, используя балкон, играть в "Таинственный остров"... но никогда не играли — Лена была реалистом и скептиком с самого раннего детства. Она встречала жизнь во всей ее наготе, и жизнь, словно стараясь соответствовать, никогда для нее не принаряжалась, не манила и не баловала...

Несмотря на одинаковую нищету всех кругом, бабушка разрешала мне дружить с детьми очень выборочно. С Леной — да, потому что ее мать Ксения Ивановна была купеческой дочкой и кончила гимназию. "Раньше наверху жил генерал, забыла фамилию. У него была дочка Варенька, хроменькая. Ей разрешали с нами играть... Но, конечно, сначала зашла генеральша, познакомилась... видит, люди приличные..." Бабушка — охранительница жизненных трафаретов.

Сходились мы с Леной так: в школе заранее договаривались, скажем, на шесть часов вечера. В шесть бабушка и Ксения Ивановна одновременно открывали двери квартир на крошечную лестницу. Оба ее пролета слабо освещались свечными огарками, которые они держали в руках. По крайней мере становилось видно, что там никого нет.

— Можно пускать? — громко спрашивала бабушка.

— Пускайте!

И бабушка отпускала мое плечо. Перекликаясь с Леной, я мчалась через две ступеньки, все равно немного боясь, но и предвкушая удовольствие от общества. "Все в порядке, — говорила Ксения Ивановна, перегибаясь через перила с верхней площадки. — Встречайте в девять".

Играли обычно у Лены, в крошечной комнате, одной из двух, принадлежащих "тете Мусе". Хозяйка была пожилая, деликатная и веселая. В горло у нее был вставлен металлический клапан (который мне было неловко рассматривать), и говорить она могла, только нажав на этот клапан. Сначала раздавался сип, а уж потом ее голос, как на пластинке со старинной записью Льва Толстого. Поэтому в первую

секунду после сипа я каждый раз ожидала услышать что-нибудь значительное, но "тетя Муся" говорила, например: "...Х-х-х... играй, Адель, не знай печали..." Лена стеснялась тетки, особенно, когда та пыталась напевать, и "тетя Муся", смеясь как на старой пластинке, смущенно уходила к себе.

Комната, в которой мы играли, во время войны оставалась нежилой и наполовину превратилась в кладовку. Я очень ее любила — в ней было столько разных вещей, что можно было представить себе все что угодно. Среди других глупых игр помню одну, на которую мы решались только в минуты душевного подъема. Над письменным столом в этой комнате расплывалось по стене сырое пятно (их этаж был последним), а на столе стояла старая бронзовая настольная лампа. Мы зажигали лампу, брались за руки, а свободными руками — одна держалась за лампу, а другая тихонько водила по сырому пятну. И в какой-то момент нас довольно сильно дергало током. Законов электричества мы, само собой, не знали — это был чистый эмпиризм, как в первобытном обществе.

В нашей семье в литературных вкусах царствовал максимализм, прикрывавший некоторое невежество. Поэтому от Пушкина, Лермонтова и Алексея Константиновича Толстого меня вели прямо к Некрасову-Майкову-Фету (тоненький сборничек "Стихи о природе" — например, "Мороз — Красный нос"). А Ксения Ивановна была словно из другого мира. Очень добрая, чуть ироничная и невзрачная, с янтарными (мещанскими) капельками в ушах, она бормотала-напевала все русские жестокие романсы и всех поэтов от Полежаева до Вертинского. Эти ее

стихи и романсы производили на меня такое впечатление, словно я после жизни среди статуй попала вдруг в возбуждающее общество живых, кокетливых женщин, может быть, чуть вульгарных, но остроумных и сердечных. Когда нам вместо игры хотелось притулиться к взрослому, мы приходили (особенно я всегда тянула Лену) в ее комнату с креслами, покрытыми отглаженными полотняными чехлами, с фарфоровыми статуэтками в ореховой горке. Она подавала нам на крахмальных салфетках то, что мы тогда называли чаем, и в двадцатый раз (после моих молений и Лениных ворчаний) декламировала, чуть жеманничая:

Затянут крепом тронный зал.
На всю страну сегодня
Народ дает свой первый бал
По милости Господней...
И, как всегда, король там был
Галантен неизменно,
Он перед плахой преклонил
Высокое колено...

У меня — озноб по спине.

В самом конце 44-го вернулся отец Лены. К тому времени бабушка уже солгала мне, что мой отец погиб на фронте, а мама уже солгала бабушке, что дядя Вадя "пропал без вести". В дневных и ночных снах мне снилось, как я его, пропавшего, нахожу...

Меня пригласили к "верхним жильцам" на семей-

ное торжество. Спазм зависти я встретила возмущенно и, действительно, вскоре почувствовала искреннюю радость и возбуждение — это подставила плечо вся детская классическая литература, предпочитающая братство равенству. К тому же воспитание у нас было такое идеалистическое, что ненадолго все вернувшиеся с фронта отцы показались общими (это уж пионерская дудочка Гайдара, столичного крысолова).

Меня принарядили, и при тускло загоревшемся электричестве я, в безумном нетерпении, но чинно, как сиротка, поднялась наверх. Сердце ходило ходуном, когда я пожала руку немолодому майору. Лицо обманчиво-деревенского склада (как у Булгакова), прямые белые волосы, легко падавшие на прозрачные глаза... Кожа его быстро краснела, и напрягались все жилы, когда он смеялся, курил и закашливался.

Пока родственницы из Тарховки "сервировали" стол майорским пайком, Лена, не похожая на себя, возбужденно рассказала мне в маленькой комнатке, что отец был на фронте не просто майором — комиссаром! (А подать сюда ляпкина-тяпкина Полевого — иконописный комиссар, дарующий мудрым словом жизнь отчаявшимся...)

На столе были крахмальные салфетки, просунутые в кольца с монограммами, сгущенка в хрустальных блюдечках, фарфоровые чашки и серебряные ложки с витыми тонкими ручками. Ксения Ивановна смущала меня, поминутно прижимаясь к мужу и оглаживая его. Лена не слезала с его колен. Но когда распределяли места за столом, рядом с героем великодушно посадили меня. (И я до сих пор этим

тронута.) Я смотрела на комиссара как на священника и во время обеда дала себе слово стать хорошим человеком.

В середине чаепития мы с Леной на минуту отвлеклись от своего соседа, потому что Ксения Ивановна рассказывала что-то смешное про нас самих. Я подалась вперед, рука с куском булки лежала на скатерти. И вдруг эту мою руку что-то страшно обожгло. Так, что я громко вскрикнула, рука дернулась, из глаз брызнули слезы, сгущенка растеклась по белоснежной скатерти. Я в испуге схватилась за обожженное место и вдруг услышала, что майор смеется, а за ним и Лена. В следующую секунду стало понятно, что это была шутка — накалив в кипятке две серебряные ложки, майор приложил их к нашим блокадным семилетним запястьям. Я тоже стала, сглатывая слезы, смеяться, а тогда и другие — облегченно.

Все-таки шутка обидела меня, и остаток чаепития шляхетская гордость подбивала меня уйти, а иудейская охранительность человеческих связей — остаться. Я осталась.

После обеда комиссар затеял с нами игру: стоя и разговаривая с дамами, он вдруг неожиданно, не меняя выражения лица (только глаза расширились), кидался нас ловить. Мы со смехом (Лена — искренним, я — уже с нервным) кидались кто куда. В какой-то момент мы бросились вон из комнаты. В тусклом коридоре, несясь по направлению к нашей кладовке, я услышала за собой командорский шаг кованых сапог. Лена куда-то исчезла. Влетев в комнатку, я спряталась в углу между письменным столом и тяжелым диваном. Комиссар тут же меня

настиг и загородил выход из закутка. Особенно страшно было, что он молчал, только смеялся беззвучно, одним сипом. Опершись на стол и на спинку дивана и повиснув на руках, он начал, сначала медленно, потом все быстрее, делать ногами велосипедные движения, так что кованые подошвы его армейских сапог поочередно оказывались у самого моего лица. Увернуться мне было некуда, и от предчувствия удара в лицо я почти теряла сознание. Продолжалось это вечно, пока сквозь туман дурноты я не увидела рядом с красным лицом майора бледное Ленино. Она смотрела на отцовскую руку. Я тоже безнадежно скосила на нее глаза — рука опиралась на круглое подножие бронзовой лампы. Медленно, как во сне, Лена положила свою руку на руку отца, а другой начала водить по сырому пятну на стене. В следующий момент майор дернулся, встал на ноги и ушел.

Через полгода он умер от травмы, полученной при обстоятельствах, о которых все рассказывали по-разному. И я снова стала бывать у "верхних жильцов".

Как только появилась возможность вставить выбитые стекла в маминой заброшенной комнате, мои женщины сдали ее двум молодым курсантам военно-морского училища: Вите и Леве. Лева был некрасивый, чувствительный и семейственный, играл на пианино классическую музыку и испрашивал у бабушки разрешения приводить серьезных девушек в семейный дом. Витя был красавец и жуир, девушек

водил к себе в комнату, а на пианино играл "Путь далекий до Типперери". Оба были обаятельны, смешливы, любили готовить "мечту гурмана" — макароны по-флотски и постоянно закатывали "семейные обеды", с розыгрышами и музыкой нашего старенького, но хорошего пианино, на котором что ни играй — все звучало благородно. Для Левиных и Витиных — разного сорта — девушек перед обедами долго готовилась соответствующая атмосфера, и я неизменно участвовала во всех заговорах. Витя был влюблен в маму, я была влюблена в Витю — словом, в дом вернулась юность, только чужая. Оба молодых человека успели немножко повоевать, и на Витином лице остался небольшой осколочный шрам, который делал его неотразимым. С курсантами мой и без того любимый дом стал лучшим в мире.

И вот в субботу, чудный день накануне выходного, вместо последнего урока нам обещали кино. Фильм назывался "Жила-была девочка", в нем играла Наташа Зацепина, моя ровесница. Повеселевшие и беззаботные, накануне воскресенья, 300 девочек — полшколы — сидели в безумной тесноте на скамьях в актовом зале. Строгие наши учительницы даже не очень останавливали смех и болтовню. Никто, видно, толком не знал, что за фильм — все приготовились развлекаться...

Но погас свет, опустились оставленные на этот случай синие шторы, и за единственным окном — экрана — мы снова увидели блокаду. Только на этот раз мы переживали ее не за себя, а за двух девочек-ровесниц. И то, что в жизни мы встретили как само собой разумеющееся, увиденное со стороны вдруг ударило по нашим сердцам невыносимой

болью и состраданием.

Наташа Защипина, похожая на меня, стояла перед зеркалом в уже пустой квартире (в соседней комнате — умирающая) и, завернувшись в проеденное молью боа, пела:

Частица черта в нас
Горит в недобрый час...
Огонь в груди моей —
Ты с ним шутить не смей!

Когда на экране умерла последняя мать, тихий вой в зале окреп и зазвенел.

Две оставшиеся вдвоем девочки бежали по летним, пыльным развалинам... Была сирена... "Скорее, скорее!.." — кричали мы из зала, но Наташа остановилась завязать шнурок на ботинке... "Сними ботинок! Беги!.." Потом взрыв, "А-а-а!!" зала, туча дыма рассеивается, и ужас на лице девочки (ею сыгранный, нами пережитый), которая осталась ОДНА!

В этот момент в разных концах зала несколько зрительниц постарше потеряли сознание. Фильм остановили, зажгли свет, учительницы бросились к упавшим и вытащили их в проход. В зале стоял тяжелый стон. Директриса, с выражением бесполового ужаса на лице, объявила срывающимся голосом, что дальше кино показывать не будут. И тут я стала, единственный раз в жизни, свидетельницей и участницей стихийного бунта.

— Нет! Нет! — закричали, завизжали, заплакали три сотни голосов. — Нет! Нет! Нет! — Ноги застучали по полу с силой отчаяния, старая гимназия заходила ходуном.

Испуганные учительницы сначала не понимали, что перестать показывать фильм значит оставить Наташу Защипину сидеть на окровавленной куче щебня... не зимой, когда ран не видно под ватниками, а летом, когда тело так беззащитно и кровь сворачивается страшными темными лужицами, подернутыми пылью.

Наконец до взрослых дошло, что они ничем не смогут усмирить нас, кроме фильма. Училка в гимнастерке, ковыляя как пришвинская куропатка, пробежала к механику и скомандовала продолжать показ.

И мы по праву досмотрели, как в тихую, белую госпитальную палату входит, прихрамывая, высокий и стройный, затянутый в португую, с седеющими висками и всепонимающим взглядом — ОТЕЦ.

Гром победного салюта на экране слился с облегчающими рыданиями зала.

Я помню, что бежала домой одна, не обращая внимания на обстрел со стороны лужи, и всю дорогу рыдала. Оба курсанта оказались в нашей комнате, Витя схватил меня на руки и укачивал, бормоча шутки, а мама сзади, через его плечо, давала мне валерьянку и вытирала Витину шею, по которой текли мои неостановимые слезы.

Как у многих детей этого поколения, мое сердце было разбито не жизнью, а искусством — каким бы там оно ни было. Мы мало чего ждали и уж точно ничего не требовали от жизни, а от искусства — всего.

* * *

Дорогой Николас, кажется, я давно Вам не писала. Год? Жизнь перед глазами менялась, мельтешила, как картинка на экране компьютера. Но сейчас остановилась, и в душе покой — я приняла бабушку как хроническую болезнь. Утром встаем — на "comode". Бабушка говорит: "Вот накопила! Слышишь? И льется, и льется..." Потом кофе — так, чтобы все кругом было залито — мы не половинкины дочки. Приходит женщина черная помочь, милая, говорит улыбаясь: "Всье харшоу". Бабушка спрашивает: "А где все-то? Папа здесь? А Эдуард?"

А где Америка-то? Ау!

Муж как-то утешал меня, что бабушка мне — не наказание, а испытание... Это для меня очень важно, потому что испытание может кончиться, его можно выдержать. Испытание — это знак даже некоторой избранности. Вот ведь! Все еще охота в избранные. Стыдно. Но зато страх прошел, страх наказания. Потому что куда я могу попасть в Конце концов? Опять в темно-синюю комнату с окном на соседскую стену. Для обозрения — серая вставная челюсть и обвислые лиловые ягодицы. И вечный припах — несвежего тела и свежей мочи. С другой стороны, если помечтать о награде... На днях подруга, которая много лет наблюдает мою жизнь с бабушкой, сказала мне: "Анька, ты святая, ты попадешь в рай!" Да? И там у ворот меня будет ждать бабушка.

...Между прочим, она вот тут как раз говорит,

чтобы Рачинских — не принимать! Они, говорит, какие-то нагловатые.

Николас, я хочу поделиться с вами опытом, как участник чистого эмпирического эксперимента. Я поняла, что у человека, в сущности, есть только один выбор: исполнение долга перед собой или перед другими. Если вдруг Вы еще не решили; не сидите между двух стульев, не задумываясь выбирайте первый. Его, по крайней мере, можно выполнить, в принципе. Выбрав второй, вы автоматически попадаете в неудачники. И не говорите мне, что перед первым будут в конце жизни вставать тени кредиторов. Второму они тоже свет застыят. Вообще, Вы заметили, что в невыполнении долга всегда обвиняют только того, кто выполнял, выполнял, а потом один раз не выполнил?.. Так что выбирайте долг перед собой, Ни-кола-с, Ни-двора-с, потому что, скорей всего, это и есть то, чего хочет от нас не общество, не литература, черт бы ее побрал, а Господь. Верьте мне! А если не верите, выйдите на кухню и спросите кого хотите.

Вчера в очередной раз приходила медсестра от здешнего Собеса-Медикейта. Бабушка — в панику: "Это кто?!" — "Не бойся, это доктор, проверит твое здоровье". — "Да зачем? У меня брат-то, Шура, врач. Уж он не допустит".

Медсестра все же успешно ее осмотрела. Сердце — секунда в секунду, как Большой Бен; кишечник — с пропускной способностью Туннеля Линкольна. "А как у нее с давлением?" Сестра говорит: "Да лучше, чем у вас". Она стояла, наклонившись над бабуш-

киным креслом, и вдруг повернула ко мне в полутьме лицо и сказала с ухмылкой: "Seems she will last forever."*

* "Похоже, она будет жить вечно".

**В 1989-90 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:**

Аверинцев Сергей. «Религия и литература»	6.00
Аксенов В. «Аристофаниана с лягушками». (Пьесы.)	10.00
Близнецова Ина. «Долина тенет» (Стихи)	8.00
Бочштейн Б. «Занимательная кремленология»	9.00
Визель Эли. «Завет» (Роман, 280 с.)	12.50
Горенштейн Ф. «Искушение» (Роман, 160 с.)	8.50
Губерман И. «Прогулки вокруг барака» (200 с.)	10.00
Довлатов Сергей. «Чемодан»	7.50
Езерская Белла. «Мастера» (Кн. 1 и 2)	8 и 10
Елагин Иван. «Тяжелые звезды» (Стихи)	12.00
Елагин Юрий. «Укрощение искусств» (Мемуары)	16.00
Ефимов Игорь. «Архивы Страшного суда» (Роман)	8.50
Ефимов И. «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев»	13.50
Ефимов И. «Седьмая жена» (Роман)	14.00
Жемчужная З. «Пути изгнания» (Восп.)	14.00
Зайчик Марк. «Феномен» (Рассказы)	8.50
Зернова Руфь. «Женские рассказы» (160 с.)	7.50
Иванов Георгий. «Третий Рим» (Изб. проза)	14.00
Кенжеев Б. «Осень в Америке» (Стихи, 128 с.)	8.00
Лосев Лев. «Чудесный десант» (Стихи)	9.00
Лосев Лев. «Тайный советник» (Стихи)	8.00
Лосская Вероника. «Цветаева в жизни»	15.00
Мережковский Д. «Маленькая Тереза»	9.50
Найман Анатолий. Стихотворения	8.00
Полторацкий Н. П. «И. А. Ильин»	17.00
Поповский М. «Дело академика Вавилова»	10.00
«Поэтика Бродского». (Статьи, ред. Л. Лосев)	12.00
Озерная Н. «Разговорник для новых американцев»	9.00
Ратушинская И. «Сказка о трех головах»	7.50
Ратушинская Ирина. «Стихи»	8.50
Рачко Марина. «Через не могу» (Повесть)	6.50
Свирский Г. «Прощание с Россией» (Повесть)	8.50
Сойфер В. «Власть и наука» (Лысенковщина)	45.00
Суслов И. «Рассказы о тов. Сталине»	7.50
Телесин Ю. «1001 сов. полит. анекдот»	10.00
Троцкий Лев. «Дневники и письма»	14.00
Шварц Анатолий. «Жизнь и смерть М. Булгакова»	12.00
Штерн Людмила. «Под знаком четырех»	8.50
Эткинд Ефим. «Стихи и люди» (160 с.)	9.00

Заказы и чеки отправлять по адресу:

Hermitage, P. O. Box 410, Tenafly, N. J. 07670, U.S.A.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на пересылку
(независимо от числа заказываемых книг). При покупке

3-х и более книг — скидка 20%.

**Печать и переплет
выполнены
в типографии
New England Publ. Co.,
728 Hampden st.,
Holyoke, MA 01040
USA**



Photo by Mark Podgursky

В центре повести МАРИНЫ РАЧКО (журналистки, поэтессы, переводчицы) — сто лет жизни русской женщины, рожденной в Санкт-Петербурге в царствование Александра Третьего, пережившей три революции, пять войн, террор, блокаду и вынесенной, в конце концов, в Соединенные Штаты Америки. В судьбе и характере героини переплетаются трагическое и смешное, упрямство и конформизм, мудрость и ограниченность, жертвенность и эгоизм. Она дана то глазами ребенка (внучки), то глазами автора, и этот прием помогает создать многогранный, запоминающийся образ.

До эмиграции в 1978 году Марина Рачко (Ефимова) сотрудничала в ленинградских журналах и на Ленинградском радио. В настоящее время совмещает редакторскую и переводческую деятельность с работой на радиостанции «Свобода». Живет под Нью-Йорком.